

★ БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО РОМАНА ★

Владимир

ЧУГУНОВ



НЕВЕСТА

Владимир Аркадьевич Чугунов

Невеста

Серия «Библиотека семейного романа»

Серия «Наследники», книга 2

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=64104888

Невеста, роман / Чугунов В.А.: Родное пенелыще; Нижний Новгород;

ISBN 978-5-98948-069-2

Аннотация

Это второй роман из цикла «Наследники». Он продолжает судьбу главных действующих лиц романа «Молодые» и повествует о судьбе третьей из сестёр Иларьевых Пашеньке. Из второй половины семидесятых годов действие переносится в начало восьмидесятых и происходит по преимуществу в Москве, куда после стольких лет «затворнической жизни», связанной с преданностью своей детской мечте, полная радужных надежд, в преддверии ожидаемого и оберегаемого от всех счастья, прибывает эта юная провинциалка. О том, что встретит её на самом деле, не приснилось бы ей и в кошмарном сне, но, увы, такова жизнь. И потом – что такое счастье, не призрак ли оно? Или причина его лежит в чём-то другом?

Издание 3-е, исправленное и дополненное.

Содержание

Часть первая

4

Конец ознакомительного фрагмента.

105

Владимир Чугунов

Невеста

Часть первая

1

8 января 1982 года в районе полудня внутри храма Воскресения Слоущего, что на Успенском Вражке, как говорили в старину в Москве и о чём свидетельствовала памятная доска при входе, звонили колокола.

Окутанный дымкой нечаянно накотивших морозов, звон этот иному прохожему мог показаться идущим из недр земли, как таинственный зов легендарного Китежа, но мог напомнить и о прокатившейся по России-матушке огнём и мечом эпохе, с взвитыми кострами синих ночей, с октябратскими звёздочками, пионерскими галстуками, эхом прошедших войн, с огненными струями мартенов, движением транспарантов, выпуском непрерываемых декретов, утверждением грандиозных планов, великими свершениями пятилеток, запечатлённых нескончаемым потоком однообразных газет, в сопровождении бодрых маршей и песен про «наш паровоз», про тех, «кто был никем, а станет всем», и, конечно же, про

ту единственную страну, где и «жизнь привольна и широка» и «где так вольно дышит человек», но мог напомнить и об истреблении казачества, переселённых народах, этапах и эшелонах, идущих на Север, о тревоге бессонных ночей, удавьей пасти ночных воронок, уничтожении священства, монастырей и храмов, – иначе странным мог показаться этот звон, и тем не менее он струился, как струится из-под палой листвы лесной родник, даже предусмотрительно загнанный за метровую толщину чудом уцелевших стен, он возвещал великий праздник Рождества.

И впрямь, давненько не было такой зимы, такого мороза и столь торжественного в морозном воздухе звона!

Обедня отошла. Из распахнутых дверей выходил народ – по большей части пожилой, повидавший виды, умудрённый опытом. Встречалась и молодёжь, в основном студенты, куда-то спешащие, отчего-то мятущиеся, чего-то ищущие. Казалось бы, ничего особенного, если не вглядываться в лица, а они-то как раз и были особенными, лишь они одни – во всей Москве, во всей стране, во всём мире, пожалуй.

И уж совсем особенными могли показаться вышедшие одними из последних две совсем ещё молоденькие женщина с девушкой – судя по всему, сёстры. Как и все, они тотчас замурились от обилия света – и свет радостью отразился на их лицах.

Осторожно сойдя по ступенькам небольшой паперти, они повернули в сторону Тверской, как они её меж собой на ста-

ринный манер называли. Первая была лет двадцати пяти, беременна, в вязаной шапочке, вторая, скорее всего, – гостья из провинции, недавняя школьница, с выпущенной на грудь из-под цветного платка светло-русой косой, что подчёркивало её неброскую, но чем-то притягательную и о чём-то напоминающую типично русскую красоту. Обе в вязаных белых варежках, белых женских унтах. Варежки и унты заметно выделяли их из столичной публики. Провинциальность сказывалась во всём их поведении – не та, что таращит глаза и шарахается от автомобильного шума, а та, о которой слагают романы в стихах, поют задушевнее песни... Особенно это было заметно по младшей. Всякое движение чувства тут же отражалось на её и в самом деле чем-то особенном лице – и полуденное сияние небес, и жизнь младенчески чистой души. Так, счастливая улыбка вскоре сменилась беспокойством, что не могло ускользнуть от внимательного взора старшей.

– Ну, и чего опять нос повесила? Эй, золотце самоварное, очнись! Да-да, очнись и подумай, стоит ли он того?

Заметив, что «золотце» даже не отреагировало на совершенно справедливое замечание, старшая дёрнула младшую за руку, и та на самом деле будто очнулась.

– Что? А-а, ты о Ване, Кать... Нет, я – не о нём.

– Хорошо. Тогда о ком... или о чём?

Действительно, о ком или о чём может думать младшая, если старшая и все остальные ни о ком другом так часто

не говорили и не думали в последнее время – а теперь ещё в храме встретили. Правда, бегом, куда-то они с друзьями-приятелями опаздывали, спешили, потом, всё потом... А письма! Сколько их было отправлено и в Нижнеудинск, и в Самару, где Пашенька, как звали младшую в семье, в этом году окончила десятилетку.

Катя писала:

«С Ваней – беда: впал в аскетизм, спит на полу, и то не больше пяти часов, уверяя, что птица, проспавшая зарю, не может летать. Ты, говорю, куда лететь собрался? Не внемлет. Мяса в рот не берёт, уверяя, что Бог создал человека травоядным. Илья говорит, пройдёт. А если нет, крыша поедет, из университета выставят, и куда ему, когда о родителях даже слышать не хочет? Знаете, почему он им не пишет? От избыточной любви к Богу. Серьёзно! Так прямо и выражается: «Аще кто любит отца или мать более, нежели Мене, несть Мене достоин». И вообще у него на всё готовый ответ из Писания. Прямо какой-то вывернутый наизнанку марксизм. Комсомолом, говорю, смердит из дыр твоего аскетического плаща. Глубокомысленно молчит опять. Смирится, значит. Так что решайте сами – писать или не писать его родителям».

Известие поразило Пашеньку. Ваня Мартемьянов – остроумный говорун, выдумщик, «талантище», как говорили про него в школе, победитель во всех конкурсах, олимпиадах и кавэзнах – и вдруг аскет, да ещё с глубокомысленным молчанием. Пашенька писала Ване, донимала письмами Катю,

но та либо отвечала «всё то же», либо совсем ничего. И тогда Пашеньку одолело любопытство. Москва, столица, сложная жизнь большого города – это конечно, но не только это, и даже не столько это, как невозможная для забытой в тридцатых годах провинции возможность перемениться. А кто бы знал, как устала она быть единственной из всего класса, из всей школы, из всех Чувашей, пожалуй. То ли дело Москва! Как приятно было ей, например, сегодня очутиться среди сверстников, на которых никто даже и внимания не обращал в отличие от дедушкиного прихода, на который в последние годы ездила одна. Одиночество длилось четыре года – с тех пор, как уехала в Москву к мужу-художнику Катя, а Петя с Варей, трёхлетним Веней и годовалой Лидой на время учёбы в Московской духовной семинарии, а затем академии, поселились на частной квартире недалеко от стен знаменитой Троице-Сергиевой лавры. А сколько было выплакано слёз прежде! Да, но по какому поводу! Скажи кому – не поверят. Да что там – засмеют! И как сказать? Грезится что-то? Ещё, скажут, одна ненормальная!

На этом и застала её Катя. И так получилось, не хотела, а проговорила, и теперь знала, сестра не отстанет и не успокоится, пока не выведает всё. И отговориться нечем – сразу догадается. Да и чем бы это дитя могло отговориться?

– Не знаю даже, как об этом сказать, – наконец решилась она, отводя в сторону глаза и наливаясь краской, как это бывает с детьми, которые, чтобы скрыть какую-нибудь «страш-

ную тайну», собираются сказать не всю правду. – Только, пожалуйста, отнесись серьёзно.

Катя даже обиделась: это она-то несерьёзная?

– Я что-то не соображу... или я не сестра тебе? – И, стараясь заглянуть «глупой девчонке» в глаза, даже заступила ей дорогу. – Не отворачивайся, на меня смотри! Ну, что там ещё?

– Это не ещё, Катя, не ещё, – дрогнувшим голосом возразила Пашенька.

– А ты ещё заплачь. Да-да. А народ пусть полюбуется... – Для большей убедительности Катя даже руками развела, хотя улица была совершенно безлюдной. – Ну, так и будем стоять? – и, не дождавшись ответа, прибавила, выходя из себя: – Нет, это... или ты на самом деле не понимаешь, или я просто не знаю!..

– Понимаю, Кать, но и ты пойми... – И, однако же, не вдруг, а после довольно продолжительного молчания начала, выдержав прежде внутреннюю борьбу – и сомнение, и волнение, и нерешительность – и всё это до мельчайших подробностей отразилось и в её младенчески ясных глазах, и в выражении открытого лица, и в мягкости осторожной улыбки. – Тогда это, после вашего отъезда началось... – наконец разродилась она, и Катя облегчённо вздохнула.

История, в которой стыдно было признаться Пашеньке, да она и не собиралась этого в полной мере делать, началась за год до окончания школы и с краткими перерывами продол-

жалась практически до отъезда в Москву.

Как-то в начале мая, когда после зимней спячки начинают оживать сады и такие дивные бывают вечера, какая-то неведомая сила подняла её из-за письменного стола и повлекла на улицу. Не понимая, что с нею происходит, торопливо накинув на ходу плащ, Пашенька вышла на крыльцо. Сумерки наступали. Вишня в саду цвела. И такая стояла вокруг тишина, что даже слышен был полёт слепых майских жуков. Ватага мальчишек с сачками и гамом пронеслась мимо калитки. Затем три соседки-ровесницы торопливо прошли, о чём-то весело разговаривая. Куда они торопились, Пашенька знала, только сама там ни разу не была, хотя её и зазывали не раз. Становилось всё тише, всё темнее....

И тут («что в эту минуту со мной случилось, не знаю») она подняла глаза к звёздному небу, и у неё сами собой потекли слёзы, как это бывает, когда дети потихоньку от родителей отрешённо плачут в подушку.

По субботам она обычно отправлялась с дедушкой на приход на его стареньком «Москвиче», чтобы помочь сильно сдавшей за последний год псаломщице Александре Степановне. Бабушка-сердечница давно уже на приход не выезжала. Прихожане, в основном старушки, оказывали молоденькой псаломщице всяческое внимание, за чтение шестопсалмия и благодарственных молитв после причастия по заведённому обычаю собирая по пять – десять копеек. Но если прежде это внимание льстило, после того вечера стало тяго-

тить. Было такое впечатление, что вместе с доживающими свой век старушками она проходит мимо чего-то главного в своей жизни. Практически на всех примелькавшихся за эти годы лицах можно было прочесть одно: всё позади. И отныне все разговоры сводились к благополучию детей, внуков, ведению немудрёного хозяйства. Отстоят обедню, справят требы, отслужат молебны, и с чувством исполненного долга, с галочьим граем, на разные лады перетолковывая очередные сплетни, двинут толпой к трассе, чтобы поспеть на проходивший два раза в день рейсовый автобус. И это из года в год, без малейших перемен, одно и то же.

Пока лелеяла надежду, о которой не сказала Кате ни слова, всё это казалось в её положении единственно возможным, когда же наконец поняла, что не может же это тянуться до бесконечности, да ещё всею душою вдруг почувствовала, как прекрасен мир, у неё словно пелена упала с глаз.

Продолжая ездить с дедушкой на приход, Пашенька все больше и больше тяготилась приходским однообразием, а затем под разными предлогами стала уклоняться от поездок, отговариваясь загруженностью учёбой, занятиями в кружке филологов, и всего лишь (об этом она Кате тоже не сказала) для того, чтобы не расстраивать родителей, стала посещать по воскресеньям кафедральный собор, на самом же деле (о чём тоже благоразумно умолчала) ходила, чтобы, как и сама Катя когда-то, однажды встретить какого-нибудь умного, скромного, пусть даже и немолодого человека. Отец, бу-

дучи дьяконом, ездил служить на свой приход; мать, прежде ездившая с ним, вынуждена была помогать вместо дочери дедушке. Таким образом, половину субботы и воскресенья Пашенька оставалась хозяйкой в доме и была предоставлена самой себе. И, пожалуй, впервые вкусила сладость свободы.

Отныне, всякий раз отправляясь в собор, она придиричиво рассматривала себя в зеркало. Но эти экзекуции причиняли ей очередные страдания. Почему-то казалось, на неё и не глянет никто. Самое обыкновенное лицо самой обыкновенной девчонки. Кончалось тем, что, в очередной раз показав несносному отражению язык, она выходила из дома, заперала на ключ дверь и, накинув на калитку крючок, бежала на станцию.

Электрички от пригородного поселка Чуваши, где они жили, до Самары ходили часто, так что буквально через полчаса Пашенька бывала у кафедрального собора. Поскольку приезжала на час, полтора раньше, до начала всенощного бдения гуляла по близлежащим улицам, затем где-нибудь в самом дальнем от алтаря уголке стояла службу и уходила после помазания, чтобы побродить ещё.

Вскоре она поняла, что ожидания её напрасны. И хотя в соборе постоянно появлялись дети местных священников, ни общаться, ни знакомиться с ними после охлаждения к приходской жизни Пашеньке не хотелось. И тогда вместо служб она стала ездить в читальный зал областной библиотеки. Ещё с прошлой осени, с того самого дня, когда впервые

услышала в кружке филологов об Анне Григорьевне Достоевской, Пашеньке захотелось прочитать её воспоминания. И, записавшись в читальный зал, в первую очередь спросила об этой книге. Ей ответили, что её можно найти только в до-революционных изданиях, иначе заказать в книгохране, поскольку в советское время книга эта не переиздавалась. И Пашенька сразу заказала. А в следующую субботу уже читала её. Читала взахлеб. Но именно с того вечера и началось...

Она так долго молчала, что Катя даже переспросила:

– Что началось?

Пашенька на неё уж как-то очень отстранённо взглянула, затем как бы что-то сообразила и, словно уходя от вопроса, сначала сбивчиво заговорила:

– Ну... так вот то самое, о чём вначале упомянула, только гораздо сильнее... просто места себе не нахожу... и куда-то всё тянет, Кать, чего-то всё хочется... Тут подоспели экзамены. Сдаю, а сама ещё не решила, куда поступать. В медицинский расхотела, в наш университет, на филологический, чувствую тоже, не то, а тут ещё этот выпускной бал... Кать, я знаю, ни ты, ни Варя на выпускном не были, а я пошла. Спросила папу с мамой: можно? Папа промолчал, а мама сказала: а что, сходи. И я пошла. И как только вошла и услышала звуки электрогитар и оглушительный бой ударника, всё во мне, как в ту ночь на крыльце, перевернулось. Танцевать я не умею и поэтому встала у стены в потрясении от такой громкой музыки, и даже не сразу поняла, что взяло меня за

душу, а потом догадалась – песня. Представляешь? «Чернобровую дивчину» пели.

– Какую ещё «Чернобровую дивчину»?

– Ах да, ты ведь не слышала... – смутилась Пашенька, заметив, что опять нечаянно проговорилась.

– Что значит, не слышала? А ты где слышала? И почему именно «Чернобровую дивчину»? И вообще, что это значит?

– Постой, Кать, погоди... ну не перебивай, пожалуйста, а то я совсем запутаюсь... Я просто хотела сказать, когда запели эту песню, один мальчик из параллельного класса меня пригласил, и всё. А песня про любовь... понимаешь? Он её любит, а она его нет. И он про это поёт.

– Кто?

– Музыкант. «Никогда я не поверю в то, что ты меня не слышишь, в то, что ты меня не любишь...» Понимаешь? Он про это поёт, а мы танцуем. Я же до этого никогда ни с кем не танцевала. Он меня за талию держит, а я глаза поднять боюсь. Как во сне, помнится, вернулась на своё место... Опять что-то не то говорю... Постой... Так. Что никуда поступать не стала – ты знаешь. Что к бабушке в Нижнеудинск на лето укатила – тоже... Я там все дни напролёт книжки читала. И всё время казалось... только пойми меня правильно, Кать... будто меня зовет кто-то. Ни голоса, ни звука, а зовёт... А порою так накатит, ну впору завывать...

Всё это Катя слушала сначала с едва скрываемой улыбкой, как только старшая может слушать глупенькую млад-

шую, потом с беспокойством, а под конец сама разволновалась.

– Ты вот говоришь, а мне самой кажется, словно и у меня что-то похожее, когда Илью тогда встретила, было.

– Правда?

– Ну, не вот уж, а так... Сижу порой у окна, смотрю, а ничего не вижу. О чём-нибудь спросят меня, а я не слышу. По улице иду, а куда, сама не знаю. Или вдруг ни с того ни с сего плакать захочется. Жалко себя станет. Такая я бедненькая... Или смеюсь, как полоумная...

Постой, – как будто на что-то неожиданно натолкнулась она, – а что это у тебя щёки горят? Думала, с мороза, ан – нет. Уж не заболела ли? Не знобит? Не болит голова? Ну-ка, дай лоб потрогаю.

– Перестань, Катя, – остановила её руку Пашенька. – Ну что ты всегда на другое сводишь? Ничего у меня не болит. Просто не выспалась, и всё. С непривычки, видно, на новом месте. И вообще... бывало у меня уже такое, когда засижусь допоздна.

– Вот и ложись пораньше. Нечего в мастерскую ходить. Потом как-нибудь сходишь. А то опять переволнуешься.

– Ну, не-эт, Кать, как это – потом? Я ещё хуже не усну, когда буду думать, что вы видели, а я нет.

– Ну смотри сама. И словно по команде обе тут же замолчали.

Однако ненадолго.

– Ка-ать, Катя-а?

– Ну.

– А хорошо тут!

– В храме?

– И в храме, и у вас... вообще – в Москве!

– Хорошо! – тряхнула головой Катя и потёрла озябшую щёку варежкой. – Видела бы ты, где мы раньше жили! Общий туалет, общая кухня, стада тараканов, грязи-ища-а! Я чуть не упала, когда вошла. И в таких условиях ради московской прописки Илья пять лет в дворниках отбарабанил. Теперь, слава Богу, и квартира, и мастерская своя. У них же и мастерская сначала была на троих. Да-а! Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Пожар! Те ремонта испугались, а мой шестой месяц как папа Карло – и архитектор, и плотник, и столяр, и маляр. И я помогала. Щепу выметала, мусор. Даже красить хотела, да он не дал. Ты, говори, или с ума спятила? Ты же беременная! Забо-отится!.. – похвасталась она и совсем неудручённо вздохнула. – Теперь вообще – не помощница. По дому – еле-еле. Спасибо, что приехала. Представляешь? Ноги отекают стали! И стою вроде немного. Видать, время... Кабы не захватило (Илья мне), давно бы, говорит, ремонт сделал. Тянет, говорит, и тянет. С поездки на остров без передыху всё чего-то пишет. И постоянно туда на пленэр да к старцу ездит – говорят, прозорливый, на фисгармонии играет, отцом Николаем зовут. Так, не поверишь, второй год с копейки на копейку перебиваем-

ся. Родителей уже стыдоба просить. Что, скажут, отхватила себе суженого?

– Ой, Кать, ну как тебе не стыдно? Будто ты папу не знаешь. Да он для нас последнее отдаст. Вспомни, он хотя бы дольку апельсина когда съел? Или забыла? А, махнёт рукой, ешьте сами. А тут – внучка или внук.

– Вну-учка, – и как бы в знак доказательства Катя погладила округлый живот.

– Почему думаешь, девочка будет?

– Бабушка Женя, помнишь, что говорила? Изжога – так волосёнки лезут, а привередливая – так внучка. А я знаешь какая привередливая стала? О-ой! Не поверишь, чего порой охота – даже самой смешно. И потом, мне так доченьку хочется – с косичками, с бантиками. Я бы с ней в музыкальную опять стала ходить. Дура – тогда бросила. А ты молодец!

– Ну какая я музыкантша!

– Да ладно, не прибедняйся. Никто лучше тебя тон не задаст. Без всякого камертона. И как это у тебя получается? Даже Александра Степановна на тебя всё время удивлялась, хотя всю жизнь псаломщица. А правда, как это ты?

– Ой, Кать, ну перестань, пожалуйста. Тон задать – что тут особенного? Не смейся, пожалуйста, – и, умоляюще улыбнувшись, тотчас перевела на другое: – Ка-ать, а с Колей это кто были?

– Румяный который, мордастый – Андрей, семинарист бывший, Ваня с ним через нашего Петю познакомился, в се-

минарии вместе учились. Кудрявого, что в стороне стоял, сама первый раз вижу. Правда, что краше в гроб кладут. Тоже, видать, от вериг дошёл.

– А что... и Ваня носит вериги?

– Ты или письма моего не читала?

– А что письмо? Читала, много раз.

– Ну как! А что молчун стал – вот тебе и вериги! Из жития Серафима Саровского – или забыла?

– Ах, да-а... Послушай, а как же Андрей этот? Что, тоже... молчун?

– Ну! Этот себе на уме! Ох, и зануда, я тебе скажу! Да что там, сама сегодня увидишь. Специально выставку критиковать придут. Критикуны-то ещё выискались! Вернее, этот упитанный семинарист бывший. Наш больше молчит, и всё – из соображений велей святости. Сразу видать – пятёрышник! Зададут одно стихотворение – он два выучит. А в четвёртом классе по математике, помнишь, как оставшиеся получебника за один вечер до конца прорешал? Уж больно святым поскорей хочется стать да разные чудеса отламывать.

– И охота тебе над этим смеяться, – осторожно заметила Пашенька, хотя была почти согласна с Катей. – Ты просто несправедлива к Ване, вот он от тебя и замкнулся.

– А-а, ну-ну. Поглядим, тебе много ли наговорит. Чего кивал, придёт, что ли?

– Да.

– Ты с ним не очень-то, смотри!

– Ваня хороший.

– А кто говорит, плохой? Хороший. Только тебе не пара.

– Да ну тебя, Катя! – тотчас вспыхнула Пашенька. – Он же мне почти брат!

«Почти брат!» – передразнила про себя Катя. А вообще, у неё было одно тайное намерение по поводу сестры. Нетрудно догадаться какое. Тем более она сама сейчас наполовину проговорила. И потом, что в этом зазорного? И Москва – не болото, и замужество – не позор. Когда ещё было сказано – «плодитесь и размножьтесь»? Так не от этих же «ангелов небесных», как она Ваню с его «умолёнными» друзьями про себя называла? Потому и на отдыхе сестры настаивать не стала, охотно согласившись взять с собой в мастерскую. Были они там и вчера, и позавчера, а «того, большого и сильного» так и не было. Более того. Катя была почти уверена в успехе, если, конечно, «звезда эта», как пренебрежительно называла она про себя младшую сестру мужа Ольгу, не помешает. И с чего бы сомневаться? Какой нормальный, то есть с головой, будет думать, когда даже этот ненормальный, ну что краше в гроб кладут, Ванин друг, в один миг забыл про вериги? Ишь ведь как устоялся, варна! А что станется с иными некоторыми? Короче, Катя не просто шутила, но и зондировала почву. Надо же знать, чем дышит сестра, догадки догадками, теперь факт налицо, а потому, внимательно выслушав младшую, покровительственным тоном заявила:

– Ты ей, – опустила глаза на живот, – когда родится, сказ-

ки будешь рассказывать. – И, очевидно, не до конца насладившись смущением младшей, добавила: – Слышь, а если он профессором каким-нибудь станет?

Пашенька даже шаг ускорила.

– Это ты куда полетела? Обиделась, что ли?

Пашенька не оборачиваясь:

– Было бы на что.

– А чего бежишь?

– Да глупости слушать надоело!

– Я же любя, ну! Да погоди ты, чумная! А ну поскольз-
нись?

Пашенька точно на преграду наскочила.

– Ой, Кать, прости, забыла!

Катя даже руками от удивления развела.

– И, разумеется, уже не сердишься!

– Не смеши.

– Так что даже и поцелуемся?

– Вот ещё! Давай.

И они расцеловались, а затем, как дети, озорно и заливи-сто рассмеялись. Двое прохожих мужчин даже приостанови-ли свой сосредоточенный бег и, глянув на них, сами улыб-нулись. И всякий, кто только видел их, непременно обращал внимание. Пожилые люди сквозь улыбку испускали груст-ный вздох, хмурые лица светлели, молодёжь сама заражалась весельем. Даже страж порядка у Моссовета, взяв под козы-рёк, проводил их почтительным взглядом. А им ни до кого не

было дела, никого-то они не замечали. Ах, юность-юность, ты всюду носишь весну!

– Смотрю-у я на тебя-а, совсем ещё ты... – начала было Катя, но Пашенька перебила:

– Ты, можно подумать, большая!

– Я? Ну! Я уже старая, я скоро – ма-ама!

– Мама Катя, а мама Катя, «Богородицу читаешь?»

– Спрашиваешь!

– Двенадцать раз?

– А сто пятьдесят не хочешь?

– Ух ты!.. Это потому что... мама?

– Ага-а!

И они опять рассмеялись.

Однако была у Пашеньки и вторая половина тайны или причина первой, которая даже сквозь радостный смех угадывалась в её глазах и которая, хоть и не за семью печатями хранилась, а в простой старинной шкатулке, ключ от которой носила на шнурке вместе с нательным крестиком, и рано или поздно могла быть обнаружена, тем не менее именно эту тайну никому и никогда она не захотела бы открыть. И не столько Катина беременность, сколько эта тайна привела её сюда, словно кто-то и впрямь шепнул ей на ушко: «Поезжай, он там, и ты его наконец увидишь». А ещё потому не могла во всём признаться, что сама почти не верила в осуществление того, о чём все эти годы мечтала. Подумать только! Столько лет прошло, и за всё это время ни слуху ни духу, ни даже

самой малой весточки – что там, как там, жив ли и, главное, имеет ли она право вот так, незвано, взять и появиться в чужой жизни, и, главное, нужна ли она в ней? А если там... Но об этом она даже и думать не смела, имея, правда, на то вполне резонные основания – угаданную не только среди строк машинописной рукописи повести о привередливой красавице Полине, но и Петины с Варей, как бы вскользь отпускаемые замечания на этот счёт.

2

Девятиэтажка, в которой жили Илья с Катей (Темниковы была их фамилия), находилась недалеко от стадиона «Динамо» и вместе с другими домами образовывала довольно просторный двор с волейбольной и детской игровыми площадками. Квартира находилась на первом этаже, трёхкомнатная малогабаритка, угловая. Одна комната была отведена под кабинет, дверь в неё шла прямо из прихожей. У окна стоял старинный письменный стол из карельской берёзы, с семью выдвижными ящиками, совсем недавно удачно приобретённый по случаю в комиссионке. Вдоль правой стены – шкаф, полки с дорогими альбомами, с потёртыми, приобретёнными в «Букинисте», дореволюционными собраниями сочинений классиков русской литературы, у другой стены – кушетка, торшер, двустворчатый платяной шкаф. В проходном зале, у окна, – стол с шестью стульями по бокам, тахта

справа от входа, книжные шкафы слева и дверь, ведущая в небольшую спальню.

В прихожей лежала записка, подсунутая под телефонный аппарат. На тетрадном листке красивым размашистым почерком было написано: «Все соберутся к семи. Жду. Илья».

После обеда Катя прилегла отдохнуть, а Пашенька ушла в кабинет, где отвели ей место, достала бумагу, ручку и села за стол. «Ему» она письмо уже написала и «отправила туда же», а вот родителям...

Покусав конец ручки, Пашенька мечтательно улыбнулась, представив, как «он», когда придёт время, прочтёт наконец «и это» письмо, вздохнула о том, что пока все они «без ответа», и старательно ровным ученическим почерком вывела:

«Здравствуйте, дорогие папа и мама!

Опишу всё по порядку.

Приехала я четвёртого утром. В первый день нигде не была. Штопали с Катей худые носки да вспоминали наше житьё-бытьё на метеостанции. Когда стемнело, пришёл Савва Юрьевич, знакомый Ильи режиссёр из театра, где Илья декоратором подрабатывает. Глянув на него, я сначала подумала, какой-нибудь сосед-пьяница (помятый, небритый да ещё с порога вина попросил), но оказалось – нет. Мы пили кофе, он рассказывал о похоронах, с которых только что вернулся и сразу зашёл к нам. Очень уж, сказал, так сразу не хочется идти в пустую квартиру. Долго сидел, сначала удивляясь, что я умею носки штопать, а потом, как сказал, «с ума сходил»

от котлет, которые я по твоему, мама, рецепту со свежей капустой накрутила и нажарила, а когда узнал, что мы собираемся в Третьяковку, захотел с нами пойти, хотя и заметил, что после таких котлет никакие шедевры его больше не интересуют».

Пашенька задумалась. Странно, но все эти дни она нет-нет, а думала об этом странном человеке – не то с тревогою, не то с жалостью. И это потому, наверное, что странный затеял Савва Юрьевич тогда разговор. Это когда Пашенька из сочувствия к его горю пообещала за усопшего помолиться. Когда же Савва Юрьевич спросил: «А за меня?», само собой, ответила, что и за него. На что тот, вздохнув, возразил: «Нет уж, лучше – за учителя, а за меня молиться без толку». И когда Пашенька спросила: «Почему?», ответил: «Не знаю даже, как вам, добрая вы душа, объяснить. Рад бы, как говорится, в рай, да грехи не велят». «Грехи, – говорю, – Бог прощает». «Слышал, – отвечает, – только давайте оставим этот разговор до другого раза. А за учителя очень вас прошу помолиться». «И за вас, – говорю, – хоть вы и против, всё равно помолюсь». «Ну, – развёл руками, – как знаете». Поднялся, походил-походил, вдруг подошёл и говорит потихоньку то ли в шутку, то ли всерьёз: «Если вы такая добрая, может, ещё как пожалеете?» – «Как это?» – «Не понимаете?» – «Нет». – «Ну, и не будем об этом». Собрался и ушёл.

И что это могло значить, спросила она себя? Или это ничего не значит? Писать об этом или не писать? И, подумав,

решила, что не надо.

Перечитав написанное, продолжала дальше:

«Пятого были в Третьяковской галерее, а затем пошли в мастерскую и просидели за разговорами допоздна. А Савва Юрьевич опять где-то потихоньку хлебнул (сердце, говорит, что-то давит) и всё шутил. Он всё время шутит. То есть не поймёшь, всерьёз или в шутку говорит.

Не буду описывать галерею, долго и незачем, скажу только: столько там, пап, мам, картин! И художники все знаменитые! Лучше их теперь никто не напишет – Савва Юрьевич сказал. А ещё сказал, что «Явление Христа народу» Иванова относит, как и все картины подобного рода, к «откровениям», но сейчас, говорит, так писать нельзя, а лишь – побулгаковски. Писатель такой был, чертей описывал, а черти, которых он описывал, говорят, по потолку его дома-музея до сих пор ходят; сотрут следы от лап кошачьих, а они опять наследят. Про это, хоть и тайна, знает вся Москва. Так что Савва Юрьевич меня прямо напугал, когда сказал, что практически всё «знаковое» какое-то искусство тем только и занимается и что сам хотел бы поставить спектакль, только уже с каким-то обратным «знаком». Я так поняла, он хочет изобразить каких-то добрых чертей, а таких же ведь не бывает, верно? Подумать подумала, но вслух не сказала. Москва всё-таки. Если, думаю, у них тут черти по потолкам ходят – всё может быть. Больше всего, как поняла, ему нравится Суриков, а про «Боярыню Морозову» он сказал, что картина эта

для него – камень преткновения. Говорит, все эти Врубели и Скрябины, и вообще все наши доморощенные отрицатели, из тех самых мест вышли, куда боярыню Морозову увезли. И я так и не поняла, к чему он это. Но переспрашивать не стала. Чтобы необразованной дурочкой не показаться. У Ильи как-нибудь об этом спрошу.

На Рождество были на ночной службе.

И нынешний день начался с храма. Каждый день ходим. И, кажется, весь мир сияет! Сегодня – даже особенно! Мороз, солнце! А люди какие тут! Чудо! И в храме – просто чудесно! Пол влажный от снега талого. Немножко зябко. От солнца света паникадильного почти не видать. А как поют! И батюшка – такой важный (прямо как наш Петя теперь), служит степенно! Слезы сами так и текут! Не могу выразить, что бывает со мною в такие минуты! Не будь этого – и что наша жизнь? А я, глупая, унывала... Вы, конечно, понимаете, о чём я хочу сказать.

Теперь о Ване. Виделась с ним сегодня в церкви, но поговорить не успела. Вечером все собираются в мастерской, и Ваня обещал быть со своими друзьями. Тогда и попробую с ним поговорить, если, конечно, получится. В мастерскую идём смотреть выставку картин Ильи. И приглашены все знакомые. Будет какой-то ещё не признанный, но очень известный среди студенческой молодёжи Москвы и других городов Союза молодой композитор; профессор исторического института; кто-то ещё, но самое главное – Иннокентий Вар-

ламов. Катя говорит, «неординарная личность». Это он на Ваню нашего повлиял, а ещё раньше на композитора этого, на Калиновских, Трофима с Машей, у которых тогда Петя с Варей в Москве на Рождество в общежитии Литинститута, где на писателей учат, гостили, и на целую кучу «сынков академиков». Они, говорит Катя, ему все в рот глядят. Один Савва Юрьевич, режиссёр этот, смотреть не хочет, наверное, потому, что Иннокентий – обыкновенный ночной сторож какого-то особняка, где теперь издательство, и все к нему туда по ночам ума-разума набираться ходят. Может, и я как-нибудь схожу. Иннокентий же этот Литинститут ещё семь или восемь лет назад окончил, а диплома до сих пор так и не получил. Катя говорит – из принципа: Вознесенского, поэта знаменитого, в пух и прах разнёс, а этого не положено. Ему говорят: «Похвали – и сразу диплом получишь». А он: «Ни за что!» «Ах, так, – говорят, – ну и живи без диплома». А он, представляете, взял и ушёл. Это я к тому, чтобы вы поняли, какие люди у Ильи в мастерской собираются.

Завтра или послезавтра всё подробно опишу.

Поклон от Ильи с Катей. Простите и благословите.

Ваша Пашенька».

Запечатав письмо, Пашенька старательно вывела адрес и, накинув пальто, сбегала к дому, на углу которого висел ближайший почтовый ящик. Дорогой опять думала о Ване и опять пришла в недоумение.

«Да! Но что я ему скажу? Ванечка, не молись? Глупо!»

Но не только это тревожило её. Беспокоил и Савва Юрьевич – чего ему от неё надо?

Вернувшись домой, Пашенька присела на тахту и, кажется, немного вздремнула. Сон её был так тонок и короток, что, пожалуй, она и не спала, хотя тяжесть с души сошла и усталости не было. Поднявшись, она прошлась по комнате, подошла к окну. Вечер был тихий. Иней искрился на ветвях корявых клёнов, на кустах аккуратно подстриженной чайной розы вдоль фасада. Длинные тени вытянулись через весь двор.

Пашенька уже начала беспокоиться и с тревогой поглядывать на часы, когда наконец появился Ваня.

Вошёл он тихо и сразу прислонился к косяку двери. Лицо его, осенённое жиденьким пушком, было свежо от мороза и, даже несмотря на худобу, привлекало избытком «закованных в вериги» жизненных сил и желаний. Одни глаза светились тем особенным умиротворением, которого прежде не наблюдалось.

Несколько мгновений они стояли друг против друга молча.

– А я уж подумала не придёшь, – первая нарушила затянувшееся молчание Пашенька и осторожно, чтобы, не дай Бог, не обидеть, улыбнулась. – Катя тут такого наговорила!.. Представляешь?

Опустив глаза, негромко, без всякого выражения чувств, то есть «бесстрастно», Ваня произнёс:

– А ты что?

– А что – я? – дёрнула плечами Пашенька. – По крайней мере, отговаривать тебя не собираюсь.

Ваня вроде бы даже удивился, но по-прежнему «бесстрастно» спросил:

– Отговаривать от чего?

– От веры твоей... – как бы само собой вырвалось у неё. «Ненормальной» хотела уже добавить она, но в последнюю минуту сдержалась.

– От веры моей – понятно. У тебя, надо полагать, какая-то другая.

– Выходит так, раз твоя не позволяет родителей успокоить. Ты почему им не пишешь? Знаешь, что Зинаида Сергеевна даже в органы заявлять собралась? Американские шпионы совратили Ваню с пути истинного.

У Вани сначала поднялись брови, а только потом уже веки.

– Так прямо и говорит?

– Так прямо и говорит.

После томительного молчания «умоленный» выдохнул наконец:

– Хорошо. Ты что предлагаешь?

– Я?

– Ну, ты же знаешь деда, отца. Да они через все газеты от меня отрекутся, когда узнают, что произошло, и тогда из университета меня точно выставят. Я, конечно, не против, да благословение у меня – учиться.

– Благословение? Чьё?

– Матушка благословила.

– Матушка? А не старец этот, с острова?

– Отец Николай? Нет. Матушка Олимпиада.

– Это она тебе не велит родителям писать?

– Перестань!

– И не Андрей этот?

– Никто и ничего мне не запрещает. С чего ты взяла? Просто не знаю, что писать, вот и всё.

– Чего проще! Жив, здоров, чего и вам желаю.

– И ничего о случившемся? – удивился Ваня.

– А ничего и не случилось, Вань, – как-то так по-особенному произнесла Пашенька – Просто ты вернулся – и всё.

Ваня посмотрел на неё уже каким-то другим, совершенно новым взглядом.

– Да-а! – вдруг вспомнил он. – Матушке о тебе сегодня рассказывал. «Скажи, говорит, ей (тебе то есть), очень бы мне хотелось с ней познакомиться. Спроси, говорит, её, не навестит ли старую глупую старуху?»

– Что ж, я с удовольствием, Вань. Когда?

– Да хоть завтра. Вечером. В семь. Идёт?

– Зайдёшь за мной?

– Ну разумеется.

В дверь постучали.

– Заходи, Кать, у нас секретов нет! – крикнула Пашенька.

– Де-эти, пора! – отозвалась Катя из-за двери. – Я уже

пальто надеваю.

– Ну, пора так пора, – вздохнула Пашенька. – Ну что, Вань, пойдём? Мы ведь обо этом ещё поговорим, да? А вообще, я за тебя рада! Правда! Хотя, может, и не всё понимаю...

Однако не всё ей понравилось в Ване. Но как об этом сказать? Чуть что не так – и сразу в штыки. И Пашенька решила подождать, помолиться, а там, глядишь, «Господь управит».

На улице было, как обычно в это время в Москве, относительно темно и относительно морозно, снег сказочно искрился в свете множества огней.

Катя спросила Ваню:

– Ты из мастерской?

– Да.

– Все уже там?

– Не знаю. Уходил, только этот... профессор был... имя у него ещё такое... нарочно не придумаешь...

– Мокий Федулович, что ли?

– Вот-вот. Занятный дядечка. Ему, кажется, за пятьдесят, а как узнал, что Андрей семинарию закончил, сразу привязался: давайте, говорит, пока никого нет, с вами поспорим?

– О чём?

– Могла бы и сама догадаться.

– Что, так и не рукополагают?

– Андрея? Нет. В трёх епархиях, говорит, уже был. Приду, говорит, на приём, Владыка: «О, семинария! Вставай в собор на клирос. Подбирай матушку. Женишься – и сразу

хиротония». А через неделю вызывает: извини, говорит, не могу, сам понимаешь. А всё из-за типографии этой.

Пашенька спросила, какой, и Ваня стал рассказывать:

– Подпольной, разумеется, – какой же ещё! До семинарии дело было. Один знакомый как-то попросил Андрея помочь, а в тот вечер как раз милиция нагрянула. Поскольку ответственность за незаконные промыслы нёс руководитель, остальные проходили как свидетели. Руководила типографией тайная монахиня, а поскольку числилась психичётной, громкого процесса организовать не удалось. Что с дуручки взять? И отправили в очередной раз в Казанскую психушку до полного излечения. Недавно, кажется, вышла. Тогда же всё вроде бы затихло. Андрей в семинарию поступил. Окончил. В прошлом году с Петей в академию прощения подали. Петю приняли, а Андрея вызывают в военкомат, заводят в какую-то отдельную комнату, дело это перед ним выложили, будешь, говорят, сотрудничать. Он ни в какую. Тогда, говорят, и учиться не будешь. И точно. Как прочёл в приказе ректора, за скрытие анкетных данных отчислили.

– И где он теперь?

– На сельском приходе подвизается.

– Как ты у нас выразаться-то стал – подвизается! – не преминула кольнуть Катя. – Между прочим. Мокий Федулович сам когда-то в семинарии учился, да не доучился. А ты не знал? Ну! При Хрущёве дело было. Чего-то он там, в этой семинарии, накуролесил, ну и выставили чуть ли не как ере-

тика. Он сразу в МГУ, на исторический документы подал. В качестве разочаровавшегося клерикала, говорит, наверное, только и приняли. Даже какое-то время щеголяли им. С разными интервью приставали. Насилу отвязались. И то, говорит, потому только, что Хрущёва сняли, и открытую борьбу с «религиозным мракобесием», как они на этот счёт всё выражаются, свернули... Стало быть, спорят? А этот уморённый откуда?

– А вы его не узнали?

– Кого? – почти одновременно воскликнули сёстры.

– Ну ты, Кать, понятно, а вот Паша...

– Я? – удивилась Пашенька, о чём-то уже смутно догадываясь и всё же не желая этому верить как чуду, которого столько лет ждала. – Да я и не смотрела, – ужасно покраснев, потерянно добавила она.

– Даже если и не узнала – немудрено. И я бы не узнал, кабы вчера случайно не разговорились. У Иннокентия в особняке. – И ещё раз странно-вато посмотрев на Пашеньку, прибавил: – Что ж, значит, будет сюрприз.

С матовыми от инея окнами подкатил троллейбус. Ваня помог Кате подняться, проводил до места. Троллейбус тронулся, разбежался и покатил. Разговаривать стало неудобно. И так, молча, доехали до «Моссовета» и, перейдя через подземный переход на другую сторону, мимо книжного магазина «Москва», сидевшего на бронзовом коне Юрия Долгорукого, направились к Столешникову переулку, где находилась

мастерская.

Чем ближе они подходили к мастерской, тем сильнее Пашеньку охватывало беспокойство.

3

А в мастерской в это время происходило то, что и могло происходить в подобных местах, где собирались так называемые «несознательные элементы». И этот, если так можно выразиться, культурный слой, заменивший в России аристократию, был, наверное, самой беспокойной частью общества, хранителем исторической и культурной памяти, собирателем цветов невытоптанного тачанками народного эпоса, украшением и даже, говоря высоким слогом, совестью своего народа.

Иначе говоря, мастерская была чем-то вроде рассадника вольнодумства или, по-современному, диссидентства, как некогда Пушкинский лицей или Московский университет при Николае I, только с обратным, как выражался Савва Юрьевич, знаком. Никакие союзы писателей, композиторов и художников, никакая забота руководящей и направляющей роли партии, во главе с живыми и мёртвыми вождями, никогда бы не смогли отменить, а тем более удовлетворить потребность в этих собраниях – не собраниях, а, скажем, в том совете, прообразом которого, может быть, и явился тот «Превечный совет», о котором Катя, Варя и Пашенька ко-

гда-то умилительно пели на три голоса: «Совет превечный, открывая Тебе, Отроковице, Гавриил предста...»

О чём шла речь на этих собраниях?

Вообще, о чём угодно, только не о марксизме-ленинизме. Говорили, например, об «антихристовом добре», и не только вслед за Владимиром Соловьёвым или Бердяевым, но и поглубже. Рассуждали о смысле монархии, идее земного града, образе и прообразе в искусстве, прямой и обратной перспективе, смысле культуры, «умном делании», о старчестве и филокалии в русской религиозной мысли. Учились думать, учились видеть, учились говорить и писать, стараясь не утратить нить истории и культурных традиций.

Не ахти что, но даже за это, кабы узнали и донесли, коекого из собравшихся могли лишить кафедры, снять с должности, оставить без любимой работы, отчислить из института и даже «до полного излечения» отправить в Казанскую психушку. И такое по недогляду и опрометчивости происходило, поэтому никого из случайных людей в мастерской Ильи не было.

Размещалась она на последнем этаже старинного здания, с украшенными лепниной окнами.

Когда Ваня, Катя и Пашенька друг за дружкой вошли в подъезд и по крутой, забрызганной белилами лестнице поднялись наверх, в мастерской царил полумрак. Картины уже были развешаны и расставлены по правой стене, и даже в темноте выделялась размером одна, остальные как бы обрам-

ляли её с обеих сторон в известном лишь одному создателю порядке. Несмотря на то что свет с улицы совершенно отчётливо обозначал все предметы, изображений не было видно, а стало быть, ещё не время смотреть. Кое-где виднелись следы пожара, но практически всё уже было приведено в надлежащий порядок, а вместо потолка – просто чудо какое-то! – стеклянная крыша – не причуда хозяина, так оказалось дешевле.

Возбуждённые голоса доносились из закутка, отделённого старым бархатным театральным занавесом, в дальнем правом конце мастерской.

Раздевшись и пристроив слева от входа на стойку-вешалку верхнюю одежду, гости направились на звуки голосов.

Немалую часть пространства закутка, куда они вошли, занимал длинный раскладной стол. Справа у стены – кожаный диван, изрядно потёртый, но ещё крепкий. Напротив него и с обеих сторон стола – с десятков разнофасонных стульев. Неяркий свет двух наскоро прикрепленных к стене бра освещали это прямоугольное замкнутое пространство.

Мокия Федуловича Пашенька видела впервые. Сидел он развалившись, закинув ногу на ногу, в дальнем конце дивана, в профиль. Суховатое лицо его было тщательно выбрито, волосы аккуратно зализаны назад. Представлялся явно не желающий стареть бодрячок, года три как овдовевший и вроде бы не прочь, как проговорился Илье, а тот Кате, а та Пашеньке, «не поджениться, нет, а жениться, аки и подоба-

ет, с «Многими летами», но без участия Мендельсона».

Подойдя к столу, Ваня заглянул в заварной чайник, потрогал руками большой, предложил сёстрам и, когда те отказались, налил себе. Катя с Пашенькой присели на диван. Разговор, видимо, шёл серьёзный, и, похоже, все, кроме Саввы Юрьевича, откровенно издевательски зевавшего, в нём принимали участие.

Вошедшим почти не уделили внимания. «Упитанный семинарист», краснощёкий и красноухий, выглядел загнанным в угол зверьком. На гостей он не обратил никакого внимания, зато второй Ванин знакомый так глянул, что Пашенька его сразу узнала, а узнав, уже не смела поднять глаз.

– Картина уничтожения Церкви, молодой человек, сопровождала всю мою жизнь! – Говорил Мокий Федулович с тою основательностью, с которой профессора читают лекции, и было видно, что всё это им давно обдуманно и приведено в стройную систему. – Поэтому давайте не будем делать скоропалительных выводов – еретик перед вами сидит или человек, кровно в этом заинтересованный, – в конце концов, решать не нам, а Богу, и всё, что говорю, говорю, в первую очередь, имея в виду именно это. В отличие от вас, например, я собственными глазами видел, как сбрасывают колокола, разбирают на кирпичи или взрывают храмы, рубят и жгут в печах иконы. Я прекрасно помню то предвоенное время, когда храмовая служба была запрещена практически по всей стране. И всё это происходило через тринадцать лет после

декларации выгораживаемого вами митрополита Сергия. И относительно Сталина, молодой человек, будто бы он с началом войны поумнел, вы глубоко заблуждаетесь. Церковь была выдвинута им всего лишь в качестве пешки в политической игре. Поэтому и возрождение её ничего общего ни с ним, ни с декларацией вышеупомянутого митрополита и всех его последователей не имеет. Не благодаря их малодушной капитуляции с начала войны стала подниматься из руин Церковь, а благодаря очнувшемуся народу. Если бы грехи иерархов перекладывались на весь народ, давно бы уже всё рухнуло. Поэтому и освобождение из Вавилонского пленения, если оно всё-таки когда-нибудь совершится, так совершится не уступками продажного епископата, а процессами внутренними, неисповедимыми, не прогнозируемыми даже самыми дальновидными умами. И относительно канонов, на которых якобы всё стоит, вы глубоко заблуждаетесь. Не слишком ли самонадеянно: «Нам и святому Духу изволися?» Вера, молодой человек, – это стихия, которую нельзя удовлетворительно прочесть и заключить в какие бы то ни было каноны, будь вы хоть все семи пядей во лбу. Если, по-вашему, главное «соборы», «заседания» и «постановления», при чём тут, скажите, моя душа? Как метастазы расползлись по лицу земли с незыблемыми постановлениями своих «соборов» и уверяют, что для спасения души это важно, тогда как это ни для какой души неважно, а всё сводится к борьбе за власть и комфорт, всего лишь прикрываемый борьбою за

чистоту учения. Почему никто никого до сих пор так и не переспорил, вы никогда не задумывались?

– И почему же?

– Да потому, что никому такого комфорта и почёта лишаться не хочется! А что вы опять улыбаетесь? Реки крови пролили за расширение сфер влияния под видом насаждения правильной веры, а затем всё свели к специфике местных традиций. Разве не так? Так сказать, перешли к цивилизованному диалогу, который назвали экуменизмом. И это означает, что передела больше не будет, а только деятельность по заманиванию очередных экономических единиц, под видом спасения души, в свою единственно правильную конфессию. И в этом, ещё раз повторяю, основное различие, лицемерно прикрываемое богословскими выкладками и видимостью ревности за чистоту веры. Все погибнут, одни мы, правильные, спасёмся – вот что в первую очередь декларируется и вдалбливается в умы каждой новообращённой экономической единице. Разве не так? Протестанты, например, требуют десятину от зарплаты. Ватикан ничего не требует, поскольку давно понял в чём дело и хорошо устроился в экономике. Православие, как самое отсталое в этой области, да ещё находясь под большевиками, пока кровно заинтересовано в неграмотных «приношанах».

Поэтому совершенно согласен с Достоевским, который считает, что всё в религии сводится к делу конкретных личностей и тому окружению, которое создаётся вокруг них. Всё

остальное – обыкновенный канцелярский аппарат. Да, необходимый, но уж никак не главный. И не смотрите на меня так, пожалуйста. Собственно, ни в одной йоте Завета я до сих пор не разуверился, а вот церковного управления, ни нашего, ни католического, ни протестантского, без оговорок принять не могу. Раннехристианское – принимаю, все последующие, организованные по ветхозаветному образцу и образцу Римской империи – нет. В первые века всё решалось не авторитетом иерархов, а мнением всего народа, соборно. А теперь что?

– Извините, но Церковь не знала поместных соборов, а только архиерейские, – со знанием дела возразил Андрей.

– «Потому что...» Ну? «Потому что...» Ну, продолжайте, молодой человек, продолжайте!

– Что продолжать?

– Предложение своё продолжайте. Вы так уверены, что заблуждаюсь я, а в данном случае заблуждаетесь вы. Церковь действительно не знала поместных соборов, а только архиерейские, это вы совершенно справедливо заметили, но это только начало предложения, которое имеет продолжение, где говорится следующее: Церковь не знала Поместных соборов, «потому что больше половины епископата было женатым, и все до одного (подчёркиваю), все до одного – избранны народом». Так если они народные избранники – для чего народу, выбравшему их, ехать с ними на соборы, когда он им и так, как родным отцам, во всём доверял? Тогда народ

не только избирал, но и изгонял недостойных. Кому же, как не народу, знать, кто достоин быть епископом, пресвитером или дьяконом, а кто нет? Пока избирал народ – и священники были соответствующие, до сих пор они слава и честь Церкви, но стоило ввести имперскую форму правления – и сразу же начались разделения и расколы. Поэтому со всей ответственностью заявляю: пока народу не вернут законную власть, в Церкви будет умяляться дух Христов.

Андрей хотел было возразить, но в разговор неожиданно влетел Савва Юрьевич.

– Позвольте, Мокий Федулович! – несмотря на свою тучность, легко поднялся он. – Вот вы тут всё критикуете наше родное православие, а я, например, обеими руками – за!

– Вы?

– Я. И как раз в таком виде, какое оно существует. И знаете почему?

– Ну?

– Видите ли, я хоть и был женат дважды, один раз официально, для прописки, второй раз неофициально, и мог бы жениться без конца, но!.. Все те разы, бывшие и возможные осуществиться в будущем, – согласно нашему родному православию – я пребывал в грехе, так? Но вот прямо сию минуту я говорю себе – амба! И вот я уже не в грехе, а в истине, а, стало быть, самый что ни на есть настоящий жених! Да меня после этого в любой церкви обвенчают как невинность, и даже на белое полотенце поставят, как сохранившие-

го добрачную чистоту, а не как какого-нибудь второбрачного прощельгу, не сумевшего перенести «вар и зной» низменных страстей, как у них про это в требнике напечатано. Им, второсортным, даже венцы на головы не надевают. А мне наденут. Я узнавал. Ведь прежде я пребывал в грехе, а теперь – в истине! А как удобно-то! Полжизни жил свиньёй, сходил на исповедь – и ты уже ангел, разве что без крыльев. А по-сему – ура нашему родному православию, ура!

– Ура – невежественным попам! – возразил Мокий Федулович.

– Ну, тогда, извините, практически всем без исключения! Знаете, сколько моих знакомых, оставив по одной, по две и даже по три незаконные жены, теперь живут в святом законном браке?

– Ну, да вы, как обычно, всё наизнанку вывернете, – с недовольной миной заметил Мокий Федулович.

– Извините, Савва Юрьевич, за нескромный вопрос, – спросил Андрей. – Вы сами-то в Бога верите?

– Я-то? Действительно – нескромный, если, к примеру, предположить, что мы на худсовете нашего театра или, что ещё хуже, на партсобрании. А так, ну что? Обыкновенный вопрос. Разве что теперь об этом не принято и даже неприлично спрашивать. Но простите – как вас там?

– Андрей.

– Так вот, Андрей, мать моя – обыкновенная русская женщина, крестьянка одной из русских губерний или областей,

кому как угодно, и природе своей никогда не изменяла. Учились мы, конечно, кто где хотел, а мать всю жизнь прожила на одном месте и всю жизнь верила в Бога. И даже Библию по утрам читала. Она теперь у меня, такая... настоящая, в общем, Библия, и я сам иногда её читаю... для общего развития. А в детстве, помнится, когда я в школу ещё не ходил, зимой дело было, сядет моя дорогая мама с утра пораньше у окна, в печи дрова потрескивают, в доме тишина, только её шёпот и слышно. Всегда шёпотом читала и даже не понимала, что значит – читать про себя. Так я, бывало, спущусь к ней с печи, подойду, спрошу: «Ма-ам, а тут про что написано?» Она вздохнёт, виновато улыбнётся да скажет: «Шёлка бы ты спать! Вырастешь – сам прочитаешь». А ты, говорю, мне дашь? Да, говорит. Ну, я и доволен. Лезу на печь досыпать. Думаю, боялась говорить, тогда вообще об этом говорить боялись, а может, сама ничего толком не понимала. И такое бывает. Но сколько умела мистического страху напустить. Жуть! Не хуже Николая Васильевича! Лежишь, бывало, и шелохнуться боишься. Вот сейчас, думаешь, кто-нибудь тебя ка-ак схватит... ну и так далее. Я этих историй полно знаю. Были бы у меня дети, честное слово, каждую бы ночь пугал. А что? Пусть боятся. Для профилактики не повредит... Не надо спорить, Мокий Федулович. У нас в деревне говорили, кто спорит – тот кое-чего не стоит. Кое-чего – это чего зайцы нюхать не любят...

Пока Савва Юрьевич мастерски всё это рассказывал,

Илья, подойдя, наклонился к Кате с Пашенькой и шепнул потихоньку: «Врет, как всегда. Он же коренной одессит и в деревне никогда не жил».

– Одессит! – обескуражив Илью своей догадкой, тотчас же согласился Савва Юрьевич, следивший за ним краем глаза. – Но в деревне я всё-таки жил – под Томском, в эвакуации, во время войны. И было мне тогда три или почти четыре года. И всё это на самом деле происходило в доме хозяйки, где мы тогда жили. Почему так рассказал? Да потому что это мой собственный рассказ, написанный от первого лица. А на рассказы я с детства мастак. Весь двор, бывало, собирался слушать. Я заливаю – ребята слушают. Например, захватывающая история о некой... не знаю даже, как попримечнее выразиться, нечто вроде Лисички из фильма Федерико Феллини «Амаркорд»... Так всё это я к тому, что тогда, в детстве, я во всё это, в демонологию эту, совершенно искренне верил. Мрак этот, как уверяют учёные и богословы, с годами рассеялся, но мне его иногда почему-то жаль. Будь моя воля, я бы всё это разрешил. Право, никакому социализму не помешало бы, хотя господин Варламов, например, и уверяет, что это идея Бердяева, но для того чтобы это понять, не обязательно быть философом, верно?

– А, собственно, кого ждём? – перебил Мокий Федулович не столько потому, что надоело слушать пустую болтовню, сколько от обиды, что этот паяц, как он его за глаза называл, посмел его перебить, и выразительно посмотрел на свои

ручные часы.

Илья глянул тоже.

– Вообще-то всем было сказано – к семи. Теперь половина восьмого. Стало быть, не ждём? – спросил он скорее самого себя. – Ну что, тогда пошли... Что вы так смотрите, Мокий Федулович? Это Пашенька, Катина сестра, в гости к нам из Самары приехала.

Мокий Федулович действительно только теперь заметил Пашеньку, и взгляд его выражал откровенное любопытство. Но гораздо большее любопытство выражали глаза Ваниного знакомого, да и бывший семинарист поглядывал совсем не безразлично.

Когда Илья включил свет, Пашенька с Катей подошли к первой, если смотреть слева направо, картине. К ним присоединился Савва Юрьевич. Мокий Федулович, Андрей, Ванин знакомый, Ваня столпились у картины большой.

Минут двадцать, переходя от картины к картине, все молча смотрели выставку. Практически все до одной работы были по-своему замечательны, но особенно выделялось самое большое полотно, с невозможным для царившей за окнами эпохи сюжетом и однако же абсолютно верно свидетельствующей о тех подводных течениях, которые стали обнаруживать себя особенно с начала семидесятых, с каждым годом всё более и более набирая силу.

В левом углу, на фоне дома, на пороге, в проёме открытой двери, стоял старенький седой священник в чёрном, вы-

цветшем подряснике. Редкие седые волосы доставали до худеньких плеч. В правой руке старец держал кисточку, в другой – пузырёк с елеем и кисточкой помазывал лоб подошедшей женщины в светлом платке. На крыше, которой был виден край, у ног стоявшей очереди приехавших за советом к старцу было множество голубей. Одни клевали семечки, другие вспархивали, третьи расхаживали, никого не боясь. Хорошо были видны лица всех, кого хотел изобразить художник. Были тут просто одетые женщины, девочка лет десяти. Стояли молодые люди, похожие на студентов, ищущих смысл жизни. Солидный мужчина в возрасте о чём-то беседовал с молодящейся дамочкой лет сорока, а она холёным пальцем с массивным перстнем осторожно указывала ему на старца. Лица у всех ожидающих были сосредоточенные. Но более всех, конечно, Пашеньку поразило лицо старца – кстати, был он изображён ещё на двух небольших картинах. Пашенька давно заметила – эти старческие лица чем-то очень похожи друг на друга: глубоко посаженные глаза, белый цвет лица, молитвенная отстраненность во взоре, – и много раз видела такое выражение лиц в дедушкином альбоме, давно уже была приучена относиться к старцам, как к людям особенным, но ещё ни разу ни одного живого не встречала, но встретить хотела и заранее робела. Эту робость она испытала и теперь, глядя в просветлённое лицо старца на этой и на других картинах, где тот либо занимался рукоделием, либо играл на фисгармонии, либо просто сидел под цветущей виш-

ней в весенний полдень. Несколько замечательных пейзажей с изображением того же озера, деревенской улицы украшали выставку. Имелось несколько портретов обыкновенных деревенских старушек, с обветренными, морщинистыми лицами, напомнивших Пашеньке дедушкиных прихожанок.

Наверное, вот-вот последовал бы и обмен мнениями, но за входной дверью послышался шум, дверь распахнулась, и вслед за морозным холодком один за другим вошли трое. Первый, с гитарой в чехле, долговязый, с длинными волосами, был тот самый «ещё не всеми признанный композитор» Роман Щёкин, второй, с русыми курчавыми волосами, сероглазый, чем-то напоминал былинного богатыря в дозоре, третий выглядел добродушным дедушкой Мазаем, с такой неотразимо доброй улыбкой на бородатом лице, что Пашенька сразу же догадалась, что это и есть тот самый «сторож бывшего Морозовского особняка», к которому все ходили ума-разума набираться. Богатырём в дозоре оказался тот, кого больше всех ждала Катя, и была рада, что появился он без «звезды».

Пока пришедшие раздевались и смотрели выставку, к Пашеньке с Катей подошёл Ванин знакомый.

– Простите, вы – Пашенька?

Чувствуя, что краснеет, боясь задержать на его лице взгляд, Пашенька с усилием над собой кивнула. Катя удивлённо на сестру посмотрела, затем перевела взгляд на подошедшего и спросила:

– Вы знаете мою сестру?

– И вас. Правда, заочно, по фотографии. Тогда, в Покровском, на метеостанции, помните, с вами один непутёвый старатель хотел познакомиться?

– А-а, ну всё понятно... – тут же вспомнила, сама отчего-то немного смутившись, Катя. – Вы тот самый друг нашего Пети. Павел, кажется? И где вы теперь?

– В том году в Литинститут на заочное отделение поступил.

– Жена, дети?

– Вроде как женат, – ответил он с заминкой и с тою же заминкой прибавил: – И дочь вроде как имеется.

Катя уже хотела спросить, что значит «вроде как», но в эту минуту к ним подошёл возбуждённый Илья.

– О чём сыр-бор? Катя в общих чертах рассказала, что вместе с их Петей когда-то Павел работал старателем на Бирюсе, с Пашенькой виделись всего пару раз, но сразу друг друга узнали.

– Ах, во-он оно что! – скорее для порядка удивился Илья и, повернувшись к Павлу, кивнув на свои шедевры, ибо ни о чём другом ни разговаривать, ни думать сейчас не мог, поинтересовался: – И как вам?

– Мне пейзажи очень понравились, – почему-то уклонился от разговора по существу Павел. Было видно, что чувствовал он себя неуютно, как это бывает с теми, кто случайно оказывается в совершенно чуждой для себя обстановке, и в

то же время что-то определенно держало его тут.

Илья с недоумением на него глянул, с нескрываемым разочарованием произнёс:

– Н-да.

И в это время Иннокентий, стоя перед главной картиной, по привычке покручивая кончик шкиперской бороды, с какою-то горестною задумчивостью, как будто только для одного себя, однако же и во всеуслышание произнёс:

– Тот, кто закончил своеволие, начал умирать, вступил в порядок творения, но быть ещё не начал, речи не имеет, говорить не научился, зова не слышал, что он может сказать?

– Как-как?.. – не упустил случая вернуть Савва Юрьевич.

Иннокентий на это даже не отреагировал.

– А поконкретнее?

– Может быть, правильнее обратиться к профессионалам? – предложил Мокий Федулович.

– Если бы мне было важно мнение коллег, я бы пригласил их. Но в данном случае меня интересует ваше мнение, – возразил Илья.

– Иначе – идея?

– Если хотите, да.

– Хорошо. Тогда спрошу. Ты считаешь, что Достоевский всё-таки не ошибся, уверяя, что спасение России придёт из кельи инока?

– С чего вы взяли? И потом, откуда ему было знать, что монастырей не будет?

– А это – что?

– Остров.

– Я про монаха.

– А почему вы решили, что это монах?

– А кто же?

– Если хотите, примета времени – старчество в миру.

– И чем он отличается от монаха?

– Тем же, чем матушка Олимпиада – от любой игуменьи.

– И чем, любопытно, какая-то матушка Олимпиада (не знаю, кстати, кто такая) отличается от любой игуменьи?

И тогда Илье уже ничего не оставалось, как только тут же объяснить:

– Матушка Олимпиада – наша хорошая знакомая, тайная схимница, в кельях бывшего монастыря с послушницей Лизаветой на Рождественке проживают. А от любой игуменьи отличается она, в первую очередь, неуставным обращением со своими, разумеется, такими же тайными послушницами, а их у неё около двадцати, и всё они для неё «деточки». Такое впечатление, что и монашество в ней какое-то школьническое, как для нашего Пети когда-то Ленин – самый добрый дядя на свете. Я всё недоумевал, почему она никогда схиму не надевает, а ведь знаю, что она у неё есть, на погребение приготовлена? А потом понял – неловко, поскольку ни в облике, ни в стиле жизни – ничего схимнического. Обычная бабуля из русской классики, на мою, кстати, чем-то очень похожая. Такая же грузная, мягкая, с пухленькими ручками,

щёчками, на носу классические очки с толстыми линзами – бабушки же все слепенькие. И как у всех бабушек, первая забота у неё – накормить, и не просто – а чем-нибудь вкусненьким. А постные шоколадные конфеты! Не на одной ли фабрике их изготавливают? Так нет же, откопали с Лизаветой какие-то постные шоколадные конфеты. Какая же это схимница? Бабушка – да, которая тем только и занята, что внучат балует. И всегда у них с Лизаветой чего-нибудь вкусненькое имеется: вяленая рыбка, всякие соленья, икра кабачковая, подливки, закуски, маринады, вареньица, выпечки... И всё – постненькое, а как и непостненькое, калорийное и очень вкусное, пальчики оближешь. Так если Бог есть Любовь, к кому же Ему быть ближе, как не к ней?

– Заинтриговал. Даже познакомиться захотелось.

– Если захотелось, значит, познакомитесь. А что касается отца Николая, – продолжал с тем же воодушевлением Илья, – так тот вообще на фисгармонии играет. Вы где-нибудь видели, чтобы монахи на «сопелях» и «гуслях» играли? Да его из любого монастыря сразу бы выставили. Какой же это монах? И все его в округе знают. Ничего особенного в нём не видят. Ну, служит, венчает, крестит, отпевает, причащает – всё, как и положено попу. Рыбу ему носят в знак благодарности, а он берёт-от. Никого за тридцать лет не переубедил, никого ничему не наставил. Как пили на острове рыбаки, так и пьют. Как не ходили в церковь, так и не ходят. А он за них Богу молится да песни свои поёт. Иногда в виде на-

ставления стихи читает. «Как сон промчалась жизнь моя...», например. И никому за это время не надоел. Вроде всё время рядом, а незаметен. Иной один, да с овин. Всего один, а никому житья от него нет. А этот, как воздух, незаметен, а всем необходим. А какое лицо! Разве это монах? Дедушка на завалинке. Сидит да на солнышко подслеповатые глаза щурит. Кстати, обмолвился как-то, за всю свою жизнь никого в монастырь не направил, никому не сказал: «Тебе надо идти в монастырь». А вот семейных, тех, которые, святых книжек начитавшись, по обоюдному согласию по монастырям собрались разойтись и к нему за благословением приехали, отговаривал. «Нет-нет, – говорил, – живите». И всё: «Скажу я вам, дорогие мои...» Или: «Дорогие вы мои...» Какой же это монах? Да вам в любом монастыре скажут: «Это не духовное, а душевное». А спроси, что такое духовное, никто толком не объяснит. Потому что знают об этом из тех же книжек, а не из собственного опыта, который не вмещается ни в какие схемы, всегда индивидуален, оригинален и ни на какие наши представления о святости не похож. Из ряда вон, как, например, та же фисгармонь отца Николая. Почему и появилось понятие о старчестве. Старцем или старицей и простой человек может быть. Иными словами – раб Божий. И таких, как отец Николай или матушка Олимпиада, сейчас днём с огнём не сыщешь. А что относительно биографии, так в середине двадцатых, насколько мне известно, отец Николай окончил педагогическое училище, а потом получил неполное высшее

образование в институте, откуда был исключён за то, что на собрании высказался против закрытия какого-то храма. Время тогда было такое, закрывательное. После исключения из института служил псаломщиком на одном из сельских приходов, пока в конце двадцатых, кажется, его не арестовали и не сослали на Украину. Там вторично был осуждён и отправлен сначала в тюрьму, а затем – на зону под Сыктывкар. По освобождении в середине тридцатых работал учителем в отдалённых районах. На войну не попал из-за болезни ног, которые повредил в лагере. Во время оккупации вместе с жителями села, где учил, был угнан в Прибалтику. И вот там, в оккупации, в Рижском соборе его и рукополагают сначала в диаконы, а через неделю – в священники. Сначала служил в женском монастыре, затем в мужском, где принял рясофор без перемены имени. И уже начал готовиться к постригу в мантию, как в одну из бомбёжек неожиданно погибло приготовленное для пострига облачение. Принял оно это как откровение свыше и больше попыток к постригу не предпринимал. Как видите, нет ни длительного пребывания в обители, ни старческого руководства, все благодатные дары получены им при непосредственном водительстве Божьем.

– И что ты этим хочешь сказать?

– Видите ли, Мокий Федулович, я следом за матушкой Олимпиадой склонен считать, что современный инок не в состоянии прийти в меру мужа совершенна в стенах современного монастыря.

– А как же отец Иоанн Крестьянкин, отец Кирилл Павлов, архимандрит Тихон Агриков? – возразил Андрей.

– Насколько мне известно, они уже до монастырей были сложившимися. Отец Иоанн – в лагерях, отец Кирилл с отцом Тихоном – на полях Великой Отечественной. Но в нынешних монастырях практически – ни одного. Все пришли в монастыри уже сложившимися.

– А знаете, в этом что-то есть, – в задумчивости произнёс Мокий Федулович.

– А как же Афон? – не отступал Андрей.

– И единственный на весь Афон – Агафон, – в очередной раз не упустил случая вернуть Савва Юрьевич.

– А уж без этого никак! – с неудовольствием заметил Мокий Федулович.

И Савва Юрьевич с видимостью осознания неискупимой вины потупил очи. Водворилась напряженная тишина.

– Вы, кстати, не обращали внимания, как удивительно похожи методы изобразительности в живописи и литературе? – чтобы разрядить атмосферу, собственно, ни к кому конкретно не обращаясь, задал вопрос Илья и сам же стал на него отвечать: – Я не думал о музыке, но, видимо, и там всё то же. Кажущаяся небрежность стиля Достоевского, например, создаёт мощную картину незабываемых образов. Акварельное письмо Бунина, к сожалению, такого эффекта не даёт. Порой приходится слышать, что возможная вершина литературы – это синтез стиля Бунина с драматизмом Достоевского,

но разве возможно изображение «Девятого вала» методами Сезанна или Пикассо?

И ещё около часа вели ничем не оканчивающиеся разговоры о природе творчества. Говорили, например, что разжёванное содержание часто вредит восприятию, как надоедливая казённая мораль; что нельзя ставить живописное решение в непосредственную зависимость от идейного замысла – это конец; что по портретам Пикассо и других модернистов можно, например, наблюдать состояние их души, но очень трудно представить это реалистически – это другая реальность; что если цель искусства – духовность, стало быть, только она даёт человеку другой национальности чувствовать сердце всего народа в целом, а человеку русскому – сопереживать; что не было ещё в истории изобразительного искусства шедевров без блестящей формы, но и без поэзии их не существовало никогда; что настоящий художник, как сумасшедший, живёт в своём мире, а выход из этого мира в мир живущих часто кончается для него трагедией; что народ чаще всего понимает банальную сторону искусства – похожесть того, что нарисовано, или его содержание, и будто бы не надо стремиться к тому, чтобы весь народ всё понимал, на то есть искусствоведы, кому надо, поймут, основная же масса, как и во все века, по-прежнему будет умиляться сказками про счастливую жизнь и тем убаюкивать совесть, потому что постижение любого искусства – труд, тогда как подавляющее большинство привыкло развлекаться; что Досто-

евский совсем не то имел в виду о «миссии русского инок», разумея под иночеством никаким внешним уставом не определённое и не определяемое подвижничество в миру, что послано будет это безымянное иночество на людскую ниву, как посылаются солнечное тепло и дождь, и что пронизанные им все виды творчества и познания постепенно преобразятся и дадут небывалый расцвет, которому чужая культура противопоставит ложные марева многообразных творческих объединений на почве отвлечённых начал, но что эта новая собранность, составив глубочайший гармонический строй, наконец разгонит тьму, и прочее, прочее, – и когда Катя с Пашенькой наконец поднялись, Илья сказал:

– Я провожу и вернусь, а вы пока посидите, поговорите.

– А мне не доверишь? – спросил Савва Юрьевич, всё остальное время разговора на этот раз молчавший, и тоже поднялся. – Честное слово, доставлю в целости и сохранности.

– Правда, Илюш, оставайся, – сказала Катя. – Доберёмся, не впервой.

– И я на полчаса отлучусь, – неожиданно колыхнул богатырским басом воздух Виктор. Илья на него с укоризной глянул. Тот с невозмутимым достоинством отразил: – Только воспитывать меня не надо.

И уже ничего не оставалось, как только махнуть на него рукой.

Когда вышли из подъезда, прежде чем расстаться, на

мгновение глянули друг другу в глаза. И так получилось, что именно на Пашеньке задержал Виктор свой любопытный взгляд, что-то как бы для себя отметил, но тут же нахмурился, сказал «до свидания» и, на ходу надевая меховые кожаные перчатки, не оглядываясь, зашагал по переулку направо, остальные повернули налево.

4

Заботливо придерживая Катю под руку, Савва Юрьевич завёл речь о своём недавнем бенефисе, излагая, однако, совсем не так, как было на самом деле, а так, как выгоднее всего было теперь подать – культурно, чинно, умеренно. На самом деле всё было некультурно, бесчинно и неумеренно, ибо «друзья мои, – заявил он на том бенефисе, – я уважаю Пушкина за его беззаветную преданность гарему! Вы не слышались, друзья мои, гарему! Перечитайте «Бахчисарайский фонтан» – и вы всё поймёте! А «Я вас любил...» – по-вашему, что означает? Не знаете? А я вам скажу. Борьбу головы с сердцем! Но, дороже мои, – продолжал он на том бенефисе, – когда сердце испорчено, голова не имеет права задумываться! Я не против испорченного сердца, но я против задумчивой головы! Вы хотите знать, почему... А я вам отвечу. Потому что не «княжна» владеет соромным мужем, а русалка. Да-да, дорогие мои, русалка! И не простая, не обыкновенная. Ибо есть русалки обыкновенные, а есть русалки

необыкновенные. Необыкновенные – это те, которые утопились в монастырском пруду. Я кто, в таком случае? Нет, не монастырского пруда лешак, потому что ещё не утопился, и, видимо, не утоплюсь никогда...»

Из нынешнего же изложения выходило, что скромно выпили по чашечке кофе и около часа читали замечательные стихи, пели старинные романсы и говорили друг другу одни любезности.

Катя, не обращая внимания на его болтовню, всю дорогу сначала прислушивалась к новой жизни в себе, к которой прислушивалась постоянно, потом думала о сестре. Разумеется, она заметила впечатление, которое произвела Пашенька на Виктора, и почти не сомневалась в успехе, правда, прибавляя по-прежнему, если только «звезда эта не помешает». Павла она в расчёт не брала.

Но именно о нём всю дорогу думала Пашенька. И не только, но и невыносимо страдала от того, что так прозаично, в одночасье рухнула её заветная мечта. Боже, чего только она себе, глупая, не воображала – и вот... Но главное письма – кому они теперь нужны? И всё же где-то в глубине души ещё теплилась слабенькая надежда, поддерживаемая как бы вскользь обронёнными на что-то неустроенное в его теперешней жизни намекающими «вроде как».

И так добрались до дома.

– Что вы остановились, Савва Юрьевич? Ещё не поздно, заходите, чаем напоим, – предложила Катя.

Но Савва Юрьевич и не думал уходить и только для приличия сделал вид, что колеблется.

– А котлетку дадите? Катя посмотрела на Пашеньку.

– Остались у нас котлеты?

– Фарш. Да я мигом нажарю. И холодец, должно быть, застыл!

У Саввы Юрьевича даже невольно вырвалось:

– Как – холодец? Настоящий холодец?

– Из свиных ножек, – подтвердила Катя.

– Не может быть!

– Может, Савва Юрьевич, может.

– И кто постарался?

– У нас теперь одна стряпуха, – вздохнула Катя. – Нет, конечно, и я помогала, – добавила она, заметив недовольное движение сестры, – но больше советами.

Когда вошли в квартиру и разделись, Катя предложила Савве Юрьевичу пройти в зал, а сама следом за сестрой ушла на кухню.

Вскоре в воздухе послышались шум и запах жареных котлет, в зале на столе появились холодец, ржаной хлеб, горчица. Не хватало только водки, но Савва Юрьевич на этот раз, так сказать в ответственный момент, не решился попросить, и это на него было не похоже.

Они только поужинали, попили чаю и прибрали со стола, как раздался звонок.

Катя пошла открыть. Так как дверь из зала выходила в

прихожую, и Пашенька, и Савва Юрьевич сразу увидели ту самую «звезду», которую меньше всего хотела видеть у себя Катя, следом за ней втиснулся ещё кто-то.

«Звезда», то бишь Ольга, была в норковом полушубке, в тёмной шерстяной чуть ниже колен юбке, но особенным шиком, конечно, была копна распущенных и раскиданных по плечам курчавых светлых волос.

Расстегнув пуговицы полушубка, Ольга позволила невидимым рукам его принять и пристроить на вешалку. Глянув на себя в зеркало, висевшее на стене, она что-то промокнула носовым платком под глазами, изящным движением тронула копну волос и ослепительно вошла в зал. В её облике было что-то такое, что поражало с первого взгляда. Позже, при внимательном изучении, можно было найти и недостатки и даже прийти в недоумение, что же, собственно, так поразило, но стоило начать общаться, как все эти недостатки тут же превращались в только ей одной присущие достоинства.

– Представляешь, Кать, только что у вас была, – заговорила она с той непринуждённостью, с которой говорят чаще на сцене, чем в обыденной жизни. – Из театра забежала на минутку к себе и сразу к вам. Звоню – никого. Приезжаю в мастерскую, Илья говорит: «С полчаса как ушли». Зря, стало быть, моталась. Хотя как сказать, – обернулась она на дверь, за которой кто-то, не показываясь на глаза, продолжал копошиться. – Не надо на меня так смотреть! – перехватила она любопытный взгляд Саввы Юрьевича. – Почему вам можно,

а мне нет? – небрежно скользнула она по Пашеньке взглядом, очевидно, на что-то только одному Савве Юрьевичу понятное намекая, и крикнула: – Эй, «вагонообожаемый, вагоноуважатель» – ты где? – И когда что-то вроде Вани, зачем-то прежде выключившего в прихожей свет, появилось на пороге, изящно махнула рукой: – Вуаля!

Она присела к столу и с нескрываемым любопытством смерила Пашеньку взглядом.

– Здравствуйте, – смущённо кивнула в ответ на её любопытный взгляд та. – Хотите чаю?

– И когда Ольга, обезоруженная таким обращением, с усилием над собой кивнула, обронила: – Сейчас принесу, – и вышла на кухню.

Ольга перевела взгляд на Катю.

– Кто это? Катя сказала.

– Ах, во-он оно что! А я подумала... – покосилась она опять на Савву Юрьевича.

Но тот, как сама невинность, потупил очи. Ваня, пройдя боком в зал, присел подальше от стола на край тахты. Катя стояла, держась за спинку стула.

Когда вернулась с чайниками в руках Пашенька, Ольга в знак извинения, на театральный манер опять-таки, приветливо ей улыбнулась.

Попытался втиснуться в происходящее со своей осторожной улыбкой Савва Юрьевич.

– Не смей! – тут же сурово осадил его Ольга.

– Но... я так давно тебя не видел... – пробормотал тот, будто в чём и впрямь извиняясь. – И потом... обрати внимание, как этот молодой человек на тебя смотрит. А вот я так, – и, с видимостью горечи, заключил: – уже не умею.

– Ошибаетесь, Савва Юрьевич: ему не можно, – не без ехидства заметила Катя.

Савва Юрьевич приподнял брови.

– Не можно? Почему?

– Сам говорил.

Ольга в удивлении на Ваню глянула:

– Правда?

– Говорил! – возмущённый до глубины души такую наглостью, ответил Ваня. – Да только не о себе, а об Агафье!

– О ком?

– Агафье. Лыковой. Когда ей намекнули на замужество, она ответила: «Мне не можно, я Христова невеста».

– А-ах, вон ты про что!.. Я тоже про отшельников этих слышала. Говорят, даже документальный фильм был. Как ты сказал – «Христова невеста?» Надо же!

– «Во всём виновато отшельничество и отсутствие иммунитета», – продекларировал Савва Юрьевич: – Из того самого телефильма. Были у них, кроме Агафьи, ещё два здоровенных парня, которые на охоте гоняли оленя до тех пор, пока тот не падал от изнеможения. Когда же их обнаружили, буквально вскоре оба умерли чуть не от коклюша, а следом за ними и мать. Их там же, в тайге, и похоронили, поставили

три креста, при появлении которых в кадре голос диктора звучал таким примерно трагическим образом: «Во всём виновато отшельничество и отсутствие иммунитета. Они ушли от людей, оторвались от общества – и вот к чему это привело».

Ольга, внимательно всё это выслушав, хотела что-то сказать, но в эту минуту опять позвонили в дверь. Катя пошла открывать, и вскоре из прихожей донесся её насмешливый голос:

– С ума сойти: весь цирк в сборе! Ну чего встал? Раздевайся и проходи... Всё сейчас сам увидишь. Снимай пальто, шапку, разувайся, тапочки тебе сейчас найду... Ну ты чего застыл? Ну иди, посмотри, если хочешь...

И буквально тут же в проеме двери появилась внушительная фигура Виктора. По всему было видно, что больше всего неожиданно и неприятно было ему увидеть тут Савву Юрьевича. Ольга сидела спиной к двери с чашкой чая в руке и на вошедшего даже и не подумала обернуться. Но именно к ней с плохо скрываемым раздражением в голосе обратился Виктор:

– Можно тебя на минуту.

И хотя обращение было безличным, Ольга сразу догадалась, что обращаются именно к ней, и, не поворачивая головы, по-прежнему держа в руке чашку, ледяным тоном ответила:

– Нет, не можно. Хочешь, проходи, не хочешь... А лучше

без меня, – и, поставив на стол чашку, решительно поднялась.

Виктору пришлось отступить назад, чтобы пропустить её в коридор.

В темпе накинув полушубок, натянув сапожки и, ослепительно мотнув космами, она чуть ли не вылетела в дверь. Словно вакуумом вытянуло следом за ней Ваню. Савва Юрьевич не упустил при этом случая многозначительно крикнуть. Пашенька, занятая своими переживаниями, казалось, даже и не пыталась вникнуть в смысл происходящего.

– Ну что ж, – разрешились наконец богатырские уста, – коли так... До свидания, – и тоже вышел.

Савва Юрьевич наконец облегчённо выдохнул, как если бы избавился от опасных свидетелей, и подытожил:

– Что называется, помирились. Представляю, что будет дальше.

– А были надежды на примирение? – с сомнением спросила Катя.

– Право, Катюш, может, и не было. Хотя намерение, судя по всему, всё-таки было. Я понимаю, намерение и надежда – далеко не одно и то же, хотя... хотя я лично никогда не видел тут почвы для примирения. И ещё обижается! Я бы, например, на его месте простил Олю за одну её незаурядную внешность. Честное слово! Красота, да ещё такой восходящей звезды, она же ведь ничья. Принадлежит всем и никому конкретно. А он захотел всю себе присвоить. Но это же, из-

вините, такой анахронизм. Я, кстати, говорил Оле об этом. И, положив руку на сердце, скажу – не пара она ему. Да, Катя, да. И не смотрите на меня так, пожалуйста. Вы что, не знаете, чем он её обидел?

– Чем?

– Чем... Ему, как тому атеисту, для окончательного убеждения нужно было, чтобы святой на иконе непременно моргнул. Она женщина гордая, моргать отказалась. А я – из одного, можно сказать, спортивного интереса – масла в огонь подлил. Не иначе, мол, оттого, что «ни того», а может, и «ни сего». Так, в виде догадки шепнул вовремя на ухо: мол, ни то и ни другое – ни то ни сё... Что вы на меня так смотрите? Ну да, плохо поступил. Да разве я в этом виноват?

– А кто?

– Система! Таким меня воспитала система, Катя. А поскольку я человек лояльный, веление системы для меня закон.

– И зачем вам это было надо?

– Масла-то в огонь подливать? Как это зачем, Катя? Да всё затем же – из лояльности к системе. Я ведь тоже, в некотором смысле, ненормальный человек, хотя мне давно уже не двадцать, а всего лишь сорок два... Что, не похоже? Значит, хорошо сохранился!.. Нет, Катюш, обида, конечно, была, да всё же я не из-за неё. И не виноват, что так получилось. Но и он тоже хорош: или я, или кино! И это после того, как о ней узнал весь мир! И ещё на что-то после этого надеется. Были

времена, не спору: она от зари до зари за пряжей или у зыбки, он с мечом по лесу за татаринoм гоняется или татарин за ним. Потом охоты, скачки, карты, рулетки, Государственные Думы, революции, совдепы, совнаркомы, совнархозы, партийные съезды пошли, короче – банальщина невыносимая! Но вот наконец после стольких веков татарского невежества европейскую женщину в кино казать стали, правда, пока ещё не в чём мать родила, но с поцелуями, надо заметить, почти настоящими. Вот он и привязался, уж больно-де натурально, в одном фильме один герой социалистического труда её целует и обнимает за... телосложение. А она – под ним. А он – на ней. А теперь представьте себе такую семейную картину. «Дорогой, давай посмотрим фильм с моим участием!» Детишек сопливых перед телевизором на полу рассадят. «Смотрите, дети, как ваша мама с дядей классической борьбой занимаются. Ну что, дети, правда, здорово? Что же вы молчите, почему открыли рты?» – «А почему, тятя, дядя маму всё время побарывает?» Ну и что, что замужем? Разве классической борьбой с одними родственниками занимаются?.. Да, Катя, да! Такой я неприятный, желчный и злой человек. Всё понимаю, а сдержатъ себя не могу. Лев Николаевич в полном проявлении. Все мы в какой-то мере Львами Николаевичами бываем.

– Толстой не был злым.

– Ещё каким был!.. И всё же я сказал: «ни то ни сё». То есть, судя по фильму, «да», а не по фильму судя, «нет». Ва-

ню, например, это ничуть не смутило, а фильм этот, я думаю, он тоже смотрел. Одно меня удивляет. И это уже не одну тысячу лет, подумать только – одно и то же! Вы обратили внимание, как он на неё смотрел? «Восторг в очах его сиял»! Удивления достойно, что при всей совокупности вещей и... мыслей он не видит в ней даже Нины Воронцовой.

– Какой ещё Нины Воронцовой?

– Была в стародавние времена на берегах Невы такая, как справедливо заметил великий поклонник гаремов... и бледных дев. Ах, Нева, Нева!.. Эта Нева меня самого чуть не свела с ума! Да что – чуть? Почти свела. Иначе бы стал я жить на чужой квартире – без холодца, без котлет и весь... вшивый-вшивый?..

Во всё время этой длинной тирады Пашенька всего пару раз глянула на Савву Юрьевича, а тот всё не мог понять, что её беспокоит.

И когда наконец собрался уходить и, выйдя в прихожую, неторопливо оделся, всё стоял, поглядывал на Катю, которая, не обращая внимания на его определённо намекающие взгляды, думая о своём, рассеянно, как и Пашенька, смотрела сквозь него.

– Хотел историю одну рассказать, да не знаю...

– Отчего же? Расскажите, – машинально отозвалась Пашенька.

– Или уж рассказать...

Катя наконец догадалась попрощаться и уйти в зал.

– Так рассказать? – спросил опять Савва Юрьевич.

– Что? Да-да, расскажите.

И когда на Пашенькином лице изобразилось что-то вроде прилежного школьнического внимания, начал:

– Тётя у меня была, тётя Нюша. Смерти боялась, как огня, и не заговори, на покойников вообще смотреть не ходила. Так я, бывало, подойду к ней и спрошу: «Тётъ Нюш, а что будет дальше?» – «Учиться, говорит, пойдёшь». – «А потом?» – «Дальше, говорит, учиться пойдёшь, анжанером али ышо кем станешь». Я ещё, помнится, тогда подумал, чем «анжанером», лучше «ышо кем». И, как видите, стал... «Ну, а потом, говорю, после?» – «Ну, что потом? Женишься, говорит, дети пойдут, внуки пойдут». – «А потом?» – «Да вон хоть сад насадишь, когда на пенсию выйдешь, и будешь, как Мичурин, разные сорта выводить, на базаре ими торговать да жить припеваючи». – «А дальше, спрашиваю, потом, когда все зубы выпадут?» Тут она догадывалась, к чему клоню, метала в меня что под руку попадёт и кричала на весь дом: «Чтоб ты провалился, сатана! Чтоб тебе лопнуть, чёрт пустой!» И дня на два, на три настроение ей испорчу. Хоть и выплют мне, а всё равно мне забавно... Это ж, думаю про себя, какой талант, а!.. А тут снится мне сон, со всех четырёх сторон, как один замысловатый дедок у нас говаривал. Будто бы заболел я и помираю, лежу на лавке в простой деревенской избе. Помираю – помереть не могу. Сам измучился и всех измучил. И тут приходит один старик, колдун – не

колдун, а так, какое-то старообрядческое недоумение, не то верующий, не то помешанный, чёрт ему голова, да советует матушке: запряги-ка ты, Надежда, кобылу задом наперёд да гоняй по двору, пока трижды не обложится, потом задвижку у печи открой, а там увидишь, что будет. Она так и сделала. Запрягла, погоняла лошадь, задвижку сняла, ждёт. И что бы вы думали? Выскакивают из печи два мужика, две хари чёрные да злобные, и напрямик ко мне. У одного топор. Размахнулся он да ка-ак стеганёт меня по груди. Я было кричать, а рот свело. Грудь мне распахали, схватили что-то – и в печь. Я дёрнулся, да не тут-то было. А мать облегчённо: «Неси, говорит, Кузьма, гроб». Был у нас плотник Кузьма, гробы всем делал. Я в слёзы, обидно, понимаете ли, что и гроб заранее приготовили. Ну и проснулся, конечно, не дал себя прежде времени похоронить... Такая, скажу вам, Пашенька, история. Глупая, конечно, но всё это я к тому, что и я такой же любознательный человек, как и Мокий Федулович.

– Так... если вы «всё» понимаете, зачем же смеётесь? – в удивлении выговорила Пашенька.

– А зачем вы меня об этом спрашиваете? Ведь я почти убеждён, что жизнь – абсурд, а живу... Скажите, я вам не очень противен? – спросил он вдруг, испытующе заглядывая ей в глаза.

– Что вы! Нет! – ответила она поспешно и, как дитя, покраснела.

– Вот как? Но вы разве не видите, что я всё время как бы... виляю?

– Вижу.

– И вам это ничего, не противно?

Пашенька в недоумении пожала плечами.

– Стало быть, – заключил Савва Юрьевич, – вы понимаете, что не могу же я жить всерьёз. Все мы, Пашенька, в некотором роде шуты, ну, а я в первую очередь. Оттого что... да!.. пуст, как амбар после нашествия татар. Недаром же у меня и фамилия такая – Амбарский. Хотя это и не моя фамилия. Вообще – ничья, так, «звук пустой в лесу глухом»... Псевдоним... – И в порыве покаянного великодушия признался: – А ведь я вам наврал! Честное слово! Всё это, про печку, на самом деле было – в Америке... пардон в Архангельске. Хотел сказать «в Архангельске», а почему-то сказал «в Америке». Не знаю почему... – и, доверительно глянув ей в глаза, прибавил потихоньку, почти шёпотом: – А знаете что?.. Нет, не скажу.

– Отчего же? Скажите.

– Вы будете смеяться.

– Я?

– Не будете?

– Нет.

– Тогда вообще не скажу... Или скажу. Шли бы вы за меня, Пашенька, замуж.

Улыбка дёрнула его губы, а во взгляде было, что называ-

ется, плюй в глаза – всё Божья роса. Пашенька растерянно улыбнулась, нахмурилась, опустила глаза и ответила, казалось, совсем не понимая того, что говорит:

– Я... подумаю...

Такого оборота дела, видимо, даже сам Савва Юрьевич не ожидал и на всякий случай поспешил поскорее удалиться.

5

– О чём это он? – как всякая нормальная женщина, тотчас появилась в дверях зала Катя.

– Что? А-а... О замужестве, – ответила Пашенька, словно речь шла о чьём-то, только не о её замужестве.

– О чьём? – не веря своим ушам, переспросила Катя.

– О моём. О чьём же ещё?

– Что-о?! Ты с ума сошла?

– Ну почему...

– Да на нём пробы ставить негде! – до глубины души возмутилась Катя. – Ты думаешь, про кого он сейчас рассказывал? Про себя и рассказывал! Сам он этого героя социалистического труда и играл, только не в кино, а в своем спектакле. И сам же насмехается! И вообще чуть ли не каждой встречной таким образом предлагается. А ты – почему-у!..

– Да-да, Кать, я понимаю... – также рассеянно, по-прежнему хмуря брови, кивнула Пашенька.

– Чего ты понимаешь?

– Знаешь, Кать, я, конечно, много чего не понимаю, но главное... Пстой, что же главное?..

Но в эту минуту позвонили в дверь и, точно привидение с того света, объявилось то, что совсем ещё недавно было Ваней.

– Ну-у? Проводил? – тут же накинулась на него Катя.

Вместо ответа Ваня потупил очи.

– Свадьба когда? – не отступалась Катя.

– Не понимаю, за что ты меня ненавидишь? – неожиданно, чего с ним давно не бывало, вспыхнул Ваня. – Что ты всё время надо мной издеваешься?

– Я тебе на хвост, что ли, наступила? – удивилась-возмутилась, в свою очередь, Катя и хотела пойти в атаку, но Ваня опередил:

– Ну всё, всё, Кать, прости.

Катя даже головой покачала. В виде примирения предложила:

– Холодец будешь?

– Давай.

– Мясной.

– Давай мясной.

– Чудеса да и только! – всплеснула руками Катя, направляясь на кухню. – А водки, случаем, не желаешь? – крикнула оттуда.

– И водки давай!

– Потрясающе! – донеслось до них. – И холодец, и водки

– всё давай! Это что же такое на свете творится?

Когда Ваня с Пашенькой пришли на кухню, всё уже стояло на столе – и холодец, и хлеб, и горчица, и полная рюмка водки.

Катя спросила Пашеньку:

– А ты не желаешь?

– Разве что чаю...

– А не водки? Нет?.. Ладно, садись, чайник сейчас принесу.

Она ушла в зал. Буквально тут же вернувшись с чайником, поставила на плиту и ушла снова. Было слышно, как она собирает на поднос блюдца и чашки.

– И всё время она так, – недовольно обронил Ваня.

– Она, Вань, любя. Знаешь, как она за тебя переживает?

Ваня невесело усмехнулся.

– Ага, любя... Извини, выпью. – И, подняв запотевшую рюмку, с каким-то ужасом на неё посмотрел. – Ты не думай, я всё так же – не пью. Ну а теперь душа просит.

Он вытянул губы, как вытягивают дети, пару раз поперхнулся и тем не менее, хоть и морщась, выцедил рюмку до дна. Когда нормализовалось дыхание, стал закусывать. Сначала ел торопливо, затем умереннее, а под конец совсем скис.

– Слышь? Она меня сегодня поцеловала.

И, однако же, это было не признание в чём-то необыкновенном.

– Как? – удивилась Пашенька.

– Для смеху, понятно. Когда за ней из мастерской выскочил. Разрешите, говорю, вас проводить? Смерила меня с ног до головы взглядом, прищурилась и спрашивает с издёвочкой так: «А это, собственно, зачем?» А что я ей скажу? А она тем же манером: «Ты, – говорит, – как – целованный или ещё нецелованный мальчик?» – «Я, говорю, ещё ни с кем ни разу не целовался». «Ну, тогда, – говорит, – я тебя сейчас распечатаю». И поцеловала. «Всё, – говорит, – теперь и ты, как все. Понравилось?» А что я ей скажу?

– А тебе понравилось?

– А то! – и он, как в детстве, забавно скривил свой толстогубый рот. – Ладно, говорит, пошли. Так уж и быть, говорит, стану тебя любить, раз тебя пока никто не любит. И пока досюда шли, всё обо мне выпросила: кто такой, откуда, как оказался в Москве. Выслушала и, с издёвочкой опять же, говорит: «Ладно! Станешь академиком – выйду за тебя замуж»!

– А ты академиком хочешь стать?

Ваня к ней повнимательнее присмотрелся и наконец махнул рукой.

– Понятно – клинический случай... Да, совсем из головы вылетело! Спросить хотел. Она сказала, будто бы Савва Юрьевич (представляешь?) на тебе жениться собрался.

– Ну-у... сделал он мне сегодня предложение и что?

Ваня вроде бы даже сразу протрезвел.

– Ты это серьёзно?

– Вполне. Не одному же тебе с ума сходить? – заявила она как будто и не Ване вовсе, а кому-то другому назло и, поднявшись, направилась в зал.

Совершенно обескураженный, Ваня потащился за нею следом.

Катя сидела за столом, задумавшись. Пашенька предложила ей прогуляться перед сном. И тут же собравшись, они вышли втроём во двор.

Снег уже успел покрыть искрящимся пухом тротуарные дорожки вдоль фасада. Ваня, сказав Пашеньке «до завтра», ушёл.

– Что значит – до завтра? – спросила Катя.

– К матушке Олимпиаде идём.

– А я?

– Тебя не приглашали.

– А тебя когда успели пригласить?

Пашенька сказала.

– Всё равно пойду. Я тебя теперь никуда одну не отпущу.

– Может, ещё на цепь посадишь?

– Очень, кстати, ценная мысль! Прохаживаясь по тротуару вдоль фасадной ограды, сёстры постепенно протоптали две тропинки в искрящемся пуху.

Пашенька спросила:

– Так, значит, в субботу?

Катя сразу же сообразила о чём речь.

– Да. Ну, а в воскресенье, сама знаешь, что будет, если,

конечно, крёстный придет.

– Странно. Такой удивительный человек и до сих пор не крещён!

– Ничего странного. Если меня только в пятилетнем возрасте и то на дому крестили, его в сорок шестом где можно было окрестить, когда на всю Сибирь всего несколько действующих храмов было? И не только поэтому...

И Катя стала пересказывать содержание письма, которое Иннокентий недавно получил от своей матери.

«Не удивляйся, сынок, тому, – писала Фелицата Ивановна, – что в нашей родне не было верующих. Время было такое. Мне было шесть лет, когда в селе Троицком Нанайского района комсомольцы готовились к сбрасыванию большого колокола. Церковь была очень красивой, в просторной ограде. Внутри ограды, под сенью больших лип, были захоронены служители этой церкви. Из неё потом сделали клуб, и мои старшие братья и сёстры, твои дяди и тётки, и я в том числе, ходили туда в драмкружок, а также в кино, но всё это было потом. Тогда же на площади возле церкви собралось всё село – и верующие, и неверующие. Старушки крестились, уверяя, что, как только колокол упадёт на землю, она сразу разверзнется и всех поглотит, проклинали комсомольцев. И мы, малыши, с любопытством и страхом ждали этого события. Папа с мамой к церкви не пошли, хотя жили мы через дорогу, и я видела, что папа очень огорчён таким событием, хотя хорошо помню, что ни он, ни мама в церковь никогда не

ходили, чем очень огорчали своих братьев и сестёр, которые посещали службы регулярно. Помнится, на вопрос папиной сестры мама ответила, что не обязательно ходить в церковь, можно верить в Бога в душе и не делать плохих поступков.

Комсомольцы наконец перепилили балку, на которой висел колокол, стал он падать и с таким стоном вонзился в землю, так все вздрогнули, а мы, ребяташки, так перепугались... Но земля всё-таки не разверзлась.

И в Хабаровске, куда мы потом переехали, были разрушены все церкви. Лишь под конец войны у железнодорожного вокзала, на Ленинградской улице, открыли одну. И верующие туда повалили, приезжая, в том числе, и из близлежащих деревень. Тётя моя, папина сестра, постоянно ходила к вечерне, несколько раз звала меня, но я боялась, а она говорила, что, конечно, это не та церковь, что была раньше, но всё-таки и в ней можно очиститься от житейской скверны.

А что ты хочешь, сынок? Нас воспитывали атеистами, учили ничему не верить, не признавать праздников, обрядов, запрещалось праздновать Рождество, Пасху, и только не могли выбить у народа обычай красить яйца. И, как ты помнишь, я их тоже всегда красила.

Спасибо, сынок, что сообщил, когда день святой Фелицаты (9 февраля), родилась же я, как ты знаешь, второго, поэтому, должно быть, родители и дали мне это имя. Но я всё же крещёная, а ты, сынок, – нет, как и моя младшая сестра Аня. И тут ничего удивительного нет. Негде да и некому бы-

ло крестить, да и побоялись родители, как я потом – тебя. Сын моего брата Олега (Сёму помнишь?) был тайно от него крещён его женой Ниной в Благовещенске, где они теперь живут, рождения он, как и ты, сынок, 46-го, так что, как видишь, есть в нашей родне и верующие, знай теперь об этом – ты же до отъезда в Москву внимания на это не обращал и к вере был совершенно равнодушен, а теперь пишешь, стал верующим, да не знаешь, крещён ли. Так ещё раз повторяю – не крещён. А что насчёт веры – тебе лучше знать. Только не опасно ли? У дяди Олега, кабы узнали тогда, могли быть неприятности на работе. Так что подумай хорошенько. А против Бога, против веры я лично ничего не имею. Кому и когда она мешала? И я в душе всю жизнь верила, не знаю, правда, в Бога ли, но что всё должно быть по справедливости, верила всегда.

Ты спрашиваешь, чьи мы потомки, не было ли кого у нас из дворянского рода. Отвечаю. Не было. Папа был выходцем из культурной крестьянской семьи, где все работали, были грамотными и читали книги. Мой дед приехал сюда по переселению из Вятской губернии в 1884 году. Папа окончил церковно-приходскую школу, был грамотным, начитанным и культурным человеком. Его всегда корбило отсутствие в людях элементарных правил приличия. Однажды он обиделся на соседа за то, что тот разговаривал с ним в ночной рубашке. В таком духе и я была воспитана, точно так же воспитывала и тебя и очень заботилась о том, чтобы ты вырос

таким, чтобы окружающим людям рядом с тобой жилось хорошо. Трудная у нас с тобой была жизнь. Я знала только работу и не заметила, когда ты вырос, пристрастился к стихам, к чтению книг. За книгу ты всегда готов был отдать деньги, которые получал на билет в кино, – возьмёшь, бывало, и купишь книгу в когизе. Ты, сынок, не только лицом, но и характером в меня, а я всегда говорила людям правду в глаза и ни разу не изменила этому в своей жизни, любому начальнику могу сказать всё, что о нём думаю, если вижу, что живёт он не по совести. И хотя бывало мне от этого плохо, я всегда настаивала на своём, считая, что поступаю справедливо. Видимо, и ты – так, раз до сих пор диплома не получил. Очень за тебя переживаю. Целую. Твоя мама».

Ещё прибавила Катя, что после развода с женой Иннокентий поселился в Краскове, на даче престарелых сестёр Лазаревых.

– От Казанского вокзала минут сорок на электричке. Огромный дачный посёлок там. Ещё с довоенных времён. И многие на тех дачах живут зимой.

– А крёстный кто?

– Трофим.

– Калиновский?

– Какой же ещё?

Какое-то время шли молча.

– Даже не верится, что Варя скоро матушкой станет, – сказала Пашенька.

– И даже быстрее, чем ты думаешь.

– Да что ты! Откуда знаешь?

– Варя по секрету сказала. И ты, смотри, больше никому.

Слышишь? – Пашенька преданно кивнула. – Через неделю после Крещения дьяконская хиротония.

– Господи, радость-то какая!

– Ещё бы! А ты, дуручка, за вурдалака замуж собралась.

– И не собралась вовсе.

– Слава Тебе, Господи!

– И никакая я не дуручка.

– И это приятно слышать.

– И никакой он не вурдалак, – обронила она потихоньку в сторону, но Катя всё равно расслышала.

– Ещё какой! Погоди, Илья придёт, он тебе расскажет.

– А это не он, кстати? Навстречу им действительно шёл Илья. И когда подошёл, от его курчавой бороды пахнуло водкой. Катя для порядка поморщилась и помахала перед лицом белой пуховой варежкой.

– Слушаем.

– Вы самое интересное пропустили.

– У нас, знаешь ли, тоже не без приключений.

И Катя стала, хотя и не всё, по порядку излагать. Илья внимательно слушал.

– А этот и рад.

– Савва Юрьевич?

– А знал бы ты почему... – Катя выразительно посмотре-

ла на сестру. Пашенька сердито надула губки и отвернулась. Илья в недоумении посмотрел на обеих по очереди. – Но мы умные, – с тою же загадочностью прибавила Катя, продолжая смотреть на сестру. – Так?

С усилием над собой Пашенька кивнула.

6

В прихожей их застал телефонный звонок. Звонил Савва Юрьевич, спрашивал Пашеньку. Катя устрашающе округлила глаза, передала трубку сестре и ушла следом за мужем на кухню.

– Вы знаете, что напечатали в «Правде»? – до таинственности понизив голос, спросил Савва Юрьевич.

– Что?

– Нетелефонный разговор... Шутка! В субботу моя премьера в театре. Придёте?

– Мы в субботу едем в Лавру.

– Это... в Загорск?

– Да.

– И что там – в этой Лавре?

Пашенька ответила.

– А на завтра какие планы?

Пашенька сказала, что намечается визит к матушке Олимпиаде.

– Той самой?

– Да.

– А мне можно?

– Я спрошу.

– Спаси-ибо! Вот спасибо!.. Ну, а в воскресенье?

Пашенька доложила, что намечается на воскресенье.

– И где?

– На Антиохийском подворье.

– В котором часу?

– Пока не знаю.

– Эх, тоже, что ли, сходить?

– Приходите.

– Тогда и увидимся?

– Да.

– А да – это что значит?.. Только поймите меня правильно.

Да – это что?

– Не то, что вы думаете. Спокойной ночи, – и положила трубку.

Когда пришла на кухню, Илья с Катей сидели за столом. Илья с аппетитом ел холодец и увлечённо рассказывал:

– Василий Чекрыгин как-то написал Михаилу Ларионову, эмигрировавшему в Париж, что, несмотря на неустроенность, голод и нищету, он всё-таки рад, что дома. И ещё, на мой взгляд, очень важное прибавил: «Жена у меня любимая»... У меня, кстати, тоже! – И в знак благодарности тронул Катину руку. – Была у них дочь, а умер в двадцать пять. В двадцать пять! Представляешь? Был в близких от-

ношениях с Маяковским, Есениным, Натальей Гончаровой, Николаем Чернышовым, Сергеем Герасимовым. Его светоносные листы, на которых бродят какие-то контрасты масс, полны молодой смятенностью чувств, монументальной масштабностью – когда белое пятно бумаги превращается в осязаемый цвет, излучающий рембрандтовское золото. А сколько лет будоражат сердца его фоны, где что-то такое копошится, рождаясь, формируясь и выдвигаясь на зрителя, образуя массы, а затем и образы! И вот что я по этому поводу думаю. Погоня за цветом порою доводит до абсурда художественных решений. Если провести аналогию со словом, Кожин в одной из своих статей называет поэзию Рубцова «стихией света», уверяя, что его северные пейзажи характерны неуловимым скольжением солнечных лучей откуда-то с края земли, и утверждая, что Рубцов в наши дни – это прежде всего откровение о свете. Чёрное и белое выступают у него не как цвет, а как свет, как постижение природы тьмы и света. Понимаешь? Белый, например, – это сияние какой-нибудь звезды... «В комнате моей светло. Это от ночной звезды». И белизна церковей. «Но жаль мне, но жаль мне разрушенных белых церковей». Даже грусть у него светлая. «Светлет грусть, когда цветут цветы, когда брожу я многоцветным лугом один или с хорошим давним другом, который сам не терпит суеты». Удивительно!

– Хорошо ты говоришь, – вздохнула Катя. – Сидела бы да слушала, но что-то доченька наша разбуянилась. И вороча-

ется, и ворочается! Извини, пойду. А вы посидите, поговорите, – прибавила она не без цели.

– И я бы легла, Кать, да... – глянула Пашенька на грудку грязной посуды в раковине.

– Идите-идите, я приберу, – тут же заверил несообразительный Илья. – Спокойной ночи!

Перед тем как разойтись по комнатам, Катя не упустила случая напомнить:

– Я на тебя надеюсь, слышишь?

Пашенька послушно кивнула и, пожелав Кате спокойной ночи, ушла к себе.

Однако, войдя, свет включать не стала – и так всё было видно (уж эти первые этажи!), – а, подойдя к окну, долго смотрела на тихий пустынный двор. Думала. И, конечно же, о Павле, а также о том последнем письме, которое «отправила» ему вчера. Как и все остальные (довольно много накопилось их за столько лет), лежало оно теперь в подаренной бабушкой Таисией старинной, запиравшейся на ключ шкатулке. Пашенька никогда их не перечитывала. И вовсе не потому, что не хотелось, а просто дала слово, когда придёт время, будет читать их вместе «с ним».

Чтение это она представляла себе чем-то вроде счастливого семейного досуга. И воображала примерно так: в их уютном домике (почему-то всегда воображала свой дом) по-вечернему тихо, на улице бушует выюга, а у них тепло, потрескивают в печи дрова, и они, сидя в креслах, читают её пись-

ма. Время от времени она дополняет их своими рассказами, и ему, как в той песне, которую пел на прощальном вечере перед отъездом в Белогорск, «трудно рассказать, как до этих дней жил на свете» он «без любви» её, и самым ужасным, конечно, было то, что все эти годы «с кем-то проводил дни и вечера». Да, это было ужасно и даже очень обидно, но всё это она ему заранее простила... И вдруг так прозаично рухнула её мечта.

Пашенька отошла от окна, разобрала постель. Затешила лампадку и, опустившись на колени, кратко помолилась. Она не удивилась тому, что в молитве не было прежней сердечности. Столько всего пережить – какая может быть после этого сердечность? И если бы не эти странные, а может быть, специально произнесённые «вроде как», наверное, было бы совсем тяжело.

По окончании молитвы Пашенька разделась и легла. И лежала без движения долго. И долго не могла уснуть. Ни о чём вроде бы уже не думала, а сон всё не шёл. И когда наконец, поднявшись, подошла к письменному столу и глянула на стрелки будильника, ужаснулась – было без четверти три. И это притом, что завтра (вернее, уже сегодня) она собиралась ехать на службу, а тут ещё выяснилось, что и будильник не завела.

Закрутив до упора барашек пружины зуммера, Пашенька забралась под одеяло и закрыла глаза.

Первое, о чём спросил себя Павел, войдя в комнату студенческого общежития, – что произошло?

Впервые был в церкви? Пожалуй... Если не считать того праздного любопытства, с которым во время венчания двоюродного брата Серёжи Кашадова (того самого, что некогда считал дурами всех без исключения, как выражался, «баб», и тем не менее женившегося) он рассматривал иконы и фрески небольшой Карповской церкви – одной из трёх чудом уцелевших некогда за чертой города, а теперь вошедших в городскую черту церковей. В трапезной как на армейском плацу, в три шеренги выстроили около сорока пар, и хор до умопомрачения долго повторял и повторял одно и то же: «Исаие ликуй! Дева име во чреве. И роди сына Эммануила. Восток имя ему...» И Павел всё не мог понять, какое дело до происходящего какому-то Исаии и почему какого-то Эммануила называют Востоком? А одна невеста даже упала в обморок. Но главное даже не в этом. Какою-то гоголевскою жутью опахнуло его при входе в храм и не отпускало всё время венчания.

Тогда, по-прежнему упорно продолжая ничего не писать и не читать, он не отвечал и на всё реже приходившие письма от Пети с Трофимом и, чтобы унять сосущую сердце тоску, все вечера напролёт пропадал в совхозном клубе, стара-

ясь поднять на должную высоту исполнительское мастерство так и не решившегося без него начать своё самостоятельное шествие вокально-инструментального ансамбля «Пульсары». Церковь в его сознании тогда ассоциировалась исключительно с одними если не выжившими из ума, то совершенно безграмотными, вроде бабушки Фроси Кашадовой, старушками. Бабушка Поля, похоже, была не религиозной. Во всяком случае, при посещении Мариуполя-Жданова никаких признаков её религиозности они с Аркашей не заметили. И погибший в политруках дедушка, и его умерший недавно брат, председатель облисполкома, Герой социалистического труда (в честь него была даже названа улица в городе), были людьми партийными, а стало быть, убеждёнными атеистами. Об отчимовой, умершей, когда ему было лет десять, бабушке Павел тоже ничего определённого сказать не мог. Вроде бы остались после неё какие-то хранимые в фамильном сундуке иконы, но что они из себя представляли, не только не знал, но даже никогда не интересовался. Да и разговоров на эту тему между родителями никогда не заходило. Крашение же яиц и повальное хождение на Пасху на кладбище за совхозной механбазой было до того обычным явлением, что, кроме очередного удовольствия покатать с шиферных обломков яйца, ни с чем иным в сознании праздник этот не ассоциировался.

И так было тогда. Казалось, ничего не изменилось и потом, когда наконец всё кануло в безвозвратное прошлое и

вроде бы навсегда улеглась сердечная боль, и он считал себя совсем другим человеком: пишущим, думающим, постигающим глубинный смысл русской культуры.

Что же произошло сегодня, когда, всего лишь за компанию войдя с ребятами в храм, продолжая видеть, казалось, уже ничего не видел?

И в этом странном ослеплении прошёл целый день.

Затем – мастерская, разговоры, бурные откровения Щёкина, когда, попрощавшись с остальными, они шли пешком безлюдными узкими улицами и переулками. И так дошли до бывшего Рождественского монастыря, вошли в арку, по искрящемуся снежному пуху пересекли слабоосвещённую пустынную территорию с обезображенным собором, через пролом в монастырской стене, по скользкой лестнице спустились к Сретенскому бульвару и, поднявшись вверх, очутились у занесённых снегом Чистых прудов. Тех самых, кстати... Но теперь не об этом...

За белокаменным остовом ещё одной приспособленной под что-то «полезное» церквушки повернули налево и вскоре вышли к Садовому кольцу. Пересекли его и мимо подсвеченного фонарями действующего храма Ильи Пророка, как заметил, быстро перекрестившись, заранее переложив в другую руку гитару, длинноногий Щёкин, вдоль нескончаемого ряда витрин, вывесок, полуподвальных окон, мимо погасших ларьков «Союзпечати», спящих аптек, заваленных снегом скверов с чахлыми низкорослыми клёнами и высоки-

ми тополями добрались наконец до Елоховской церкви (где, оказывается, крестили Пушкина, а Щёкин ещё раз перекрестился), и только у «Бауманской» расстались.

«И что?» – с недоумением спросил он себя.

За окном в окружении серебряной вязи звёзд рубиново тлели дежурные огни Останкинской башни – той самой, откуда неделю назад транслировали «Новогодний огонёк», на котором Мулявин впервые исполнил задевшую за живое песню. Идя сквозь нарядно одетую толпу с дорогой акустической гитарой на шее, маэстро знаменитых «Песняров» пел:

*Не обижайте любимых упрёками,
Бойтесь казаться любимым жестокими:
Очень ранимые, очень ранимые
Наши любимые.*

Казалось бы, ничего особенного? И тем не менее даже после стольких лет жизни «без неё», «с другой», слова эти отзывались душевной болью.

«Буде лучше меня найдёшь, позабудешь, если хуже меня найдёшь, вспомянешь».

На этот эпиграф из «Капитанской дочки» Павел наткнулся совершенно случайно. Сидел как-то, перелистывая синенький томик уменьшенной копии академического издания пушкинской прозы, и над одной из глав прочёл это. Сначала машинально. Потом задумался. И, наконец, понял всё...

Почему, спрашивается, тогда не воспользовался случаем,

который представился на одной из свадеб, где играли они с ансамблем, и гуляла вместе с мужем Полина? На что, как не на возможность возобновления отношений, намекнула она, когда, выдернув его из-за стола, куда присели они с ребятами перекусить, потащила под заведённую магнитофонную запись танцевать? И всё не о том, бесстыдно прижимаясь к нему в медленном танце, говорила. И говорила до тех пор, пока между ними не вклинился пьяный муж. Пришлось знакомиться...

Постой, как же его звали? Николай? Василий? Семён? Да не всё ли равно? Разговаривать с ним было не о чем, драться вроде бы тоже пока не из-за чего. Твоё сокровище? Да забери.

И только когда очутился за столом, понял, на что намекала, о чём так сумбурно говорила Полина. Муж у неё заводской начальник («весь в работе – совещания, заседания, командировки»), она домохозяйка («он настоял, незачем, говорит, тебе работать, дома сиди») и...

Даже если ничего предосудительного в этом наборе бытовых фраз не было, чем объяснить её поведение, когда, выйдя на улицу с ребятами покурить, как сумасшедшая, вдруг выбежала следом за ними она (якобы от страха, куда пропал муж) и пьяная, а значит, откровенно бесстыжая, изливая свою безосновательную тревогу, всё припадала и припадала в темноте к его груди головой, как бы ища у него утешения?

И, казалось бы, только и стоило шепнуть: «Где и когда?»

Так нет, не сделал этого! И даже знает, почему. Возможно, нет ничего нелепее подобного утверждения, но это была – не она. Той, которую он когда-то любил, в ней не осталось и помину или было так мало, почти ничего, что не из-за чего было начинать весь этот сыр-бор...

Почему же тогда так поразил, да что там, насквозь прожёт первый взгляд, когда, входя с мужем в фойе столовой, они на секунду замерли друг на друге глазами? Всего лишь мгновение, а он, почти как в день их первой встречи, как наверху буровой вышки замер от страха пред неизбежным падением в бездну. И всё же хватило самообладания не взглянуть «в ту сторону», как в автобусе тогда, больше ни разу, хоть и валилась куда-то во время пения душа. «Сижу тихонько я в стороне. Кричат им горько, а горько мне». Тем бы, наверное, и кончилось, кабы не взбеленилась, выбежав за ними на улицу, она.

И хотя ничего не произошло (тогда он не знал, что будет ещё одна, прошедшей осенью, встреча в школе), случай этот, засев в памяти, при очередной семейной ссоре бередил. А ссорились они последний год, с тех самых пор, как он стал ездить в литобъединение, постоянно.

– Я выходила замуж не за писателя! – в минуты гнева кричала Настя.

– А за кого – за музыканта?

За музыканта, оказывается, не выходила тоже.

– Неужели за старателя? – ехидно изумлялся он.

И тогда, заливаясь обидными слезами, Настя начинала некрасиво кричать:

– Ты до сих пор любишь свою Полину, а на нас тебе наплевать!

– Ананас – вещь прекрасная, но, уверяю тебя, он тут ни при чём. И если бы в том была необходимость, я бы женился на Полине, а я женился на тебе и думаю, этого достаточно, чтобы навсегда закрыть тему.

– Уж не хочешь ли ты сказать, что любишь меня?

– А ты в этом до сих пор сомневаешься?

– Клоун несчастный, у-у-у!

А вообще, ревновала она его ко всему на свете: к танцам, которые затеяли сразу же после того, как он, вернувшись в 1978 году с последнего сезона, в конце января следующего года женился, к концертной деятельности, до которой они, благодаря его настойчивости, всё-таки доросли, к свадьбам, на которые исключительно ради денег ездили играть практически каждую неделю по пятницам, и, наконец, к литобъединению, в которое, не удовлетворяясь игрой в ансамбле, но более из-за непреодолимой тяги к творчеству, он каждое воскресенье стал ездить в верхнюю часть города, в Дом учёных.

После пронзительного шума эстрады занятия в литобъединении казались чем-то вроде возделенной дачной прохлады после угара раскалённых летним зноем городских улиц. А вскоре с радостью отметил, что не разучился, ока-

зывается, писать. Мастерства, правда, как и прежде, и даже более, чем прежде, не хватало, но это же дело поправимое.

И каждую свободную минуту Павел читал или писал, сравнивал, снова принимался писать. Иначе, бился как рыба об лёд, а во время ссор выходило, что «у всех мужья как мужья, в выходные семьями в гости к друзьям ходят, детей в цирк возят, а она как мать-одиночка». В рукописи его, однако, заглядывала – нет ли чего про ту, прежнюю, – а порою ехидничала:

«Не понимаю только, как может такой плохой человек так хорошо писать?» И, пытливо заглядывая ему, как будущей знаменитости, в глаза, спрашивала: «Ты меня правда любишь? Нет, ты скажи – правда?»

И надо было сто раз заверить, что да. А ещё время от времени убеждать в правильности выбранного пути, иначе, мол, и жить не стоит, он, во всяком случае, не видит смысла.

Какой, спрашивается, в писательстве был смысл? В житейском понимании действительно – никакого, поскольку в большинстве случаев – это выпавшие зубы, испорченный желудок, несчастная жена, брошенные дети... Можно перечислять и дальше, но разве одного этого недостаточно, чтобы однажды взять и сказать себе: «Ну всё! Хватит!» – и, поломав карандаши (а он по-прежнему писал карандашами), заняться каким-нибудь «общественно полезным трудом»? Увы, не получалось. Взять хотя бы ту повесть, которую второй год не мог закончить. Только из-за одного начала, из-за одной

фразы пришлось исчеркать практически три страницы, пока не вывел наконец:

«Сидя в пустом купе, они наслаждались сказочной тишиной совершенного одиночества».

И далее:

«И так всю короткую июльскую ночь до рассвета, залившего ярким солнечным светом купе. И весь оставшийся путь у обоих было такое впечатление, что едут они не в обыкновенный таёжный посёлок, а в какое-то волшебное царство, где всё не так, как на всей остальной планете.

И это впечатление не умалилось даже после того, как они вышли на низкий перрон с жалким обшарпанным деревянным вокзалом.

– Вот это да! – невольно воскликнул он, в восхищении оглядываясь вокруг.

Тайга была всюду, тайга была рядом, и притом такая, какую они и не видывали ещё. У подножия сопки ослепительной сверкала меж стволов лиственниц ленточка стремительной горной речушки.

– Я тебя так люблю! – сказала она, прижимаясь к его сильному плечу и, робко заглядывая снизу вверх в глаза, прибавила с извиняющимся вздохом: – Правда. Очень-очень!

Он бережно обнял её свободной рукой, как ребёнка поцеловал в голову и сказал, указывая на черневшую у берега крышу старого покосившегося барака:

– А там мы будем жить.

До обеда обихаживали жильё. Вынесли на улицу для просушки засаленный ватный матрас, валявшийся посередине комнаты среди смятых окурков, пустых водочных бутылок и пивных пробок с табачным пеплом. Обмели обернутым влажной тряпицей веником невысокие потолки с мотавшимся пустым патроном, протёрли выкрашенные грязно-зелёной масляной краской стены, вымыли рамы, подоконник, стёкла, вытертые до древесины полы. На окна повесили привезённые с собой беленькие задержушки. На единственный стол выгрузили из огромного рюкзака посуду, кое-какие продукты. На электрической плитке в кастрюле вскипятили воду, принесённую из ручья, заварили чай, перекусили.

Когда высох матрас, застелили сколоченный им из старых досок, раздобытых в открытом настежь ничейном сарае, топчан. Ввиду отсутствия мебели комната больше походила на заброшенную гостиницу, чем на жильё новобрачных, а табуреты были такие ветхие, что на них страшно было сидеть.

– Ничего! – сказал он, легко поднимая на вытянутой руке за ножку табурет. – Я тут быстренько всё почию и налажу!

– Ты ведь меня не бросишь... здесь... одну, правда? – робко улыбнувшись, спросила она и прибавила, будто сама не могла в это поверить: – Ты даже не представляешь, как я счастлива!»

И так фраза за фразой, абзац за абзацем... И, спрашивается, в чём тут смысл? Абсолютно же никакого. А он всё шлифовал и шлифовал, оттачивая каждую фразу. Садился,

например, в половине шестого после работы (когда ещё в механбазе шоферил) за письменный стол в свой уголок творить и до половины двенадцатого, а то и больше из того, что творилось вокруг, не слышал. И это в барачной четырнадцатиметровке, когда за спиной – детская кроватка, с хлопающим тебя по спине погремушкой младенцем, справа – окно в полстены, за ним – разложенный диван, сзади, через дощатую перегородку, – вдвое меньших размеров кухня, которая была и прихожей, и раздевалкой, с простецким умывальником за работающим, как трактор, холодильником. Туалет для взрослых находился на улице, вода – тоже. И это ещё не всё. У разведённой соседки слева под «Шизгару» чуть не каждые выходные отплясывают индийские слоны, отчего дребезжат стёкла и вздрагивает под локтями стол, а в длинном коридоре пролетарские дети визжат так, как будто за ними гоняется истопник совхозной бани дядя Вася Сакла. И как в такой обстановке... жить – понятно, а творить? Разве не настоящее это безумие? И притом добровольное?

Утешало, правда, что не один он такой, «не от мира сего», хотя от тех, кто пришёл на первое занятие литобъединения, за полмесяца не осталось и четверти. Поэты отсеялись сразу – руководителем оказался прозаик, а стало быть, в поэзии «ни бум-бум». И не только поэтому. Начал он (Николай Николаевич, по имени-отчеству) с того, что в первую очередь отбил совершенно естественное желание у молодых гениев (а молодые – все гении) хватать звёзды с небес. Так что вме-

сто ожидаемых лавров выходил один кропотливый труд, а далеко не все к этому были готовы. Ради чего, собственно, труд? А жить когда?

Однако, как было сказано, нашлись товарищи и по вожденному несчастью. Такие же одержимые. И одни писали много и неумоимо, другие – по чуть-чуть, по две, три странички. И если первые, приходя на занятия, не закрывали рта, вторые скромно сидели в сторонке и по большей части слушали, чем говорили. Так постепенно определялось, кто есть кто и что в литературном смысле из себя представляет. А вообще, любой пишущий вызывал у Павла жгучее любопытство и прямо-таки Робинзонову радость, встретившего Пятницу, ещё со школы. Но, к сожалению, и в литобъединении чаще встречалось либо продолжение той же школьной забавы – писание без определённой цели и смысла (хочу – и пишу или пишу, потому что нравится), либо более или менее сносное подражание очередному кумиру.

Параллельно текла порядком поднадоевшая эстрадная жизнь. Занятия музыкой «в свободное от работы время» радовали только на первых порах, когда вроде бы сносно стали получаться первые пьесы, когда же был отточен до автоматизма репертуар, захотелось гораздо большего, чем пьяные свадьбы и танцы, на которых проходила любая «лажа».

Тогда и возникла мысль о концертной деятельности – в памяти ещё свежи были конкурсы «Алло, мы ищем таланты», благодаря которым можно было выйти на большую сце-

ну, иначе, воплотить в жизнь мечту – навсегда скинуть грязную рабочую спецовку. Первые пробные концерты под патронажем обкома профсоюзов, опять-таки в свободное от работы время, прошли хоть и не без успеха, но с копеечными сборами из-за отсутствия хорошей рекламы. Для того чтобы завязаться с филармонией, необходимо было, по крайней мере, лауреатство, и тогда они стали готовиться к первому областному конкурсу народных талантов. Но на одной из бесчисленных выматывающих репетиций выяснилось, что по большому счёту никому, кроме него, это не надо.

И тогда он понял, что ничего значительного в этой области со своими «мужикантами» не добьётся, что надо пробиваться одному и начать хотя бы со студии вокала. Но и тут оказалось не всё так просто. В театральное училище тоже безнадёжно опоздал. И вот тогда, почему-то именно в последний момент, Павел вспомнил о своём писательском архиве, хранившемся у родителей, и, как утопающий за соломинку, уцепился за него.

Тот день он запомнит на всю жизнь. Было такое чувство, словно обрёл сокровище. Пожелтевшие от времени, вклеенные в общую тетрадь вырезки из газет, коротенькие записи в дневнике, роман «Первый снег», из экономии бумаги напечатанный мамой через один интервал, с узкими полями, во многих местах с пробитой насквозь старинным «Зингером» буквой «о», и, может быть, самая волнующая последняя запись в дневнике: «Какое счастье и какое несчастье: я любим,

я люблю, я уезжаю!» С тех пор так и не открывал ни разу – таким огромным после канувшей в небытие ночи представлялся разрыв.

А вот и неоконченная повесть о Полине. Принести её домой и читать при жене было невозможно. Так и останется она до поры неоконченной. Остальной же архив, бережно уложив в папки, принёс домой.

Тогда у него не было ещё ни письменного стола, ни модельных полок над ним, собственно, и самих книг было немного – десятка три приобретённых до армии в «Букинисте» на сэкономленные от обеденных рубли, выдаваемые мамой поутру, когда собирался ехать на работу в свой элитный цех, располагавшийся у «шестой (как её называли) проходной» Горьковского автозавода. Самым дешёвым (по рублю) и самым ценным приобретением был, конечно, Пушкинский словарь.

Однако вскоре появились у него и стол, и полки, и библиотечка, которую пополнил ещё двумя десятками приобретённых в том же «Буке» да на чёрном рынке самых необходимых, как ему тогда казалось, книг. Под боком, в совхозном клубе, имелась довольно приличная библиотека, в которой он сделался самым прилежным читателем. Там же регулярно просматривал и свежие газеты, в одной из которых однажды и наткнулся на объявление о создании под опекой обкома комсомола нового литературного объединения – несколько поэтических в городе уже существовали.

И так, на обычном оптимистическом задоре, всё и началось. А потом без особого энтузиазма и существенных изменений целый год длилось и длилось, и даже казалось, не будет этой жевательной резине кропотливых разборов очередных ученических опусов конца, как вдруг нагрянуло довольно солидное областное совещание молодых. В качестве председателя из Москвы прибыл один из секретарей Союза писателей, выходец из здешних мест, и, разумеется, первое, о чём спросил на обсуждении, – кого из писателей Павел считает своим учителем, на что он, не задумываясь, ответил: «Достоевского». «А Горького?» – «Ну так...» С этого, собственно, и начался разгром. Ему, видите ли, Горький «ну так»! Ну, так и получи: ни чувства слова, ни чувства формы, ничего вообще... А он уж размечтался (до полночи мял подушку), что его, как кого-то из молодых знаменитостей, примут в Союз по одной рукописи.

Игорю Тимофееву, кстати, самому близкому из остальных, повезло больше. Не потому ли, что среди литературных кумиров он в первую очередь обозначил Горького?

Сидели, помнится, вдвоём после семинара в стенах Нижегородского кремля, за административными зданиями, на откосе и, поглядывая на сонный дрейф белых теплоходов, на предзакатную червонную рябь великой реки, сетовали: «А судьи – кто?»

И всё-таки шли они с Игорем своей дорогой. А однажды за разговорами о литературе прошли от верхней части горо-

да до Автозавода – часа три или четыре пути. Но даже когда пришли на улицу Фучика и оказались в заставленном антикварной всячиной кабинете товарища Петрова (литературный псевдоним того самого директора ДК, куда Павел до армии ходил в театральную студию), так и не смогли окончить начатый в верхней части города разговор. Казалось, мог он длиться целую вечность – такой же бесконечной представлялась им их собственная жизнь, в которой огорчало пока одно – непризнание: ни столичные, ни провинциальные журналы печатать их не хотели.

И читали одно и то же. По прочтении горячо спорили, причём Игорь, когда бывал с чем-то не согласен, выходя из себя, старался не столько переспорить, сколько перекричать, что случалось, правда, не так уж часто, поскольку в фундаментальных понятиях они всё же сходились. К фундаментальным понятиям в первую очередь следовало отнести их патологическую влюблённость в Пушкина, открывшегося им вдруг чудом «Маленьких трагедий», «Домиком в Коломне», потрясающе лаконичным: «беда, барин, буран».

Затем было обнажённое влажным хладом поздней осени Болдино, барский дом, с множеством (заплутаться можно) высоких двустворчатых проходных дверей, письменным столом под зелёным сукном, инкрустированной чернильницей, с забытым в ней великим хозяином гусиным пером.

И усадьба оказалась огромной, с искусственными ступенчатыми водоёмами, отражавшими свинцовую безликость

неба, с маленькими колодцами, посыпанными песком дорожками, лавками, лесенками – и вокруг, куда ни глянь, безлесые, вспаханные под озимь холмы, на одном из которых махала четырьмя гигантскими крылами ветряная мельница.

Внизу, на лавочке, раздавили четвёрку и около часа с идиотическим восторгом кричали наперебой: «Нет, ты только представь себе: “Я присяду у камина,/ Загляжусь не наглядясь”. А?» – «А “лодка, веслами махая”, как тебе?»

Спустившись ниже, через лаз в заборе перебрались на одну из овражных улиц, с неказистыми бедными избами, и до полночи бродили по безлюдному селу.

Второй семинар проходил поздней осенью на пустой летней турбазе на берегу Оки под патронажем обкома комсомола. И кроме молодых писателей, были приглашены молодые актёры, режиссёры, художники, музыканты.

В первый день во время так именуемой «общей части» читал лекцию о «партийности» искусства профессор из строительного института, чем-то смахивающий на Мефистофеля, и по его (профессора, а не Мефистофеля) идее, исключительно всё выходило «партийным».

– Какие чувства вызывает, например, этот пейзаж? – спрашивал он, указывая на изображение утреннего тумана над тихой лесной протокой. – Добрые?

– Чуть-чуть ностальгические, а в целом – да, – соглашались все.

– Стало быть, – заключал эскулап, – он – партиен! Что –

почему? Чему нас учит партия?

И выходило: одному добру. А стало быть, и пейзаж, и натюрморт и всё на свете – «партийно».

Это было забавно слушать. Но когда речь зашла о создании модели советского человека, по которой предполагалось штамповать подрастающее поколение, все стали многозначительно ухмыляться.

Затем читал что-то из Чехова народный артист Познанский – и чтение было захватывающим. После него изображала мадам Книппер смазливая, с выцветшими от беспутной жизни глазами артисточка.

И, наконец, закончили танцами, в которых никто, кроме режиссёра, поставившего эту жуть, да самой «мадам Книппер», участия принимать не захотел. И когда разошлись по комнатам и «сообразили», Николаю Николаевичу вздумалось пригласить «мадам Книппер» за общую тумбочку – к сожалению, ни стола, ни стульев в комнатах не оказалось, все стояли или сидели на кроватях. Вблизи это смазливое создание производило ещё более удручающее впечатление. И, однако же, скупой на похвалы Николай Николаевич не смог удержаться от комплимента о красоте, «которую трудно судить». Потом говорили с молодыми актёрами о том, что местное творчество в полном застое, что лично они ждут от нас новых пьес, а у нас, как на грех, не было ни одного драматурга. Даже поэта, чтобы украсить эту пьяную говорильню, не оказалось ни одного.

На второй день занимались по секциям. И вот тогда Николай Николаевич, по привычке одёргивая свитер и оглаживая аккуратную бородку клинышком, обронил такую фразу:

«Несмотря на недостатки, в рассказе Тарасова есть такие места, по которым можно заключить, что, если автор раньше времени не свихнёт себе шею, из него выйдет писатель не малой величины».

Поскольку рассказ этот, как, впрочем, и остальные, завернули все столичные и провинциальные журналы, Павел отнёс это замечание к разряду очередной менторской поддержки.

Но вот наконец и первая ласточка из столицы: сообщение об удачном прохождении творческого конкурса в Литературном институте (как раз с той разбитой на семинаре молодых писателей повестью), успешная на этот раз сдача экзаменов, непередаваемая на человеческом языке радость и, в довершение всего, буквально две недели назад пришедшее из редакции столичного журнала письмо: его очерк о старателях принят «Юностью», Павла просят зайти, когда будет в Москве.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.